КЛАССИКА В ШКОЛЕ

Д. Лондон



Зов предков

Зов предков (сборник)

Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон. Зов предков (сборник)
Зов предков
- Глава 1. К первобытной жизни
- Глава 2. Закон дубины и клыка
- Глава 3. Первобытный зверь восторжествовал
- Глава 4. Кто победил в борьбе за первенство
- Глава 5. Труды и тяготы пути
- Глава 6. Из любви к человеку
- Глава 7. Зов услышан

Белое безмолвие
На берегах Сакраменто
Любовь к жизни

Аннотация

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучаемые в начальной, средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

Повесть Джека Лондона «Зов предков» и рассказы «Белое безмолвие», «На берегах Сакраменто» и «Любовь к жизни» входят в программу по литературе для 5–7-х классов.

Джек Лондон
Зов предков (сборник)

Зов предков

Глава 1
К первобытной жизни

Древние бродячие инстинкты
Перетирают цепь привычки и веков,
И, просыпаясь от глубокой спячки,
Вновь дикий зверь выходит из оков.

Бэк не читал газет и потому не знал, что надвигается беда — и не на него одного, а на всех собак с сильными мышцами и длинной, теплой шерстью, сколько их ни было от залива Пюджет до Сан-Диего. И все оттого, что люди, ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл, а пароходные и транспортные компании раструбили повсюду об этой находке, — и тысячи людей ринулись на Север. Этим людям нужны были собаки крупной породы, сильные, годные для тяжелой работы, с густой и длинной шерстью, которая защитит их от морозов.

Бэк жил в большом доме, в солнечной долине Санта-Клара. Место это люди называли «усадьбой судьи Миллера». Дом стоял в стороне от дороги, полускрытый за деревьями, и сквозь ветви виднелась только веранда, просторная и тенистая,

окружавшая дом со всех сторон. К дому вели посыпанные гравием дорожки, они вились по широким лужайкам под стройными тополями, ветви которых сплетались между собой. Территория за домом была еще обширнее. Здесь находились большие конюшни, где хлопотала добрая дюжина конюхов и их подручных, тянулись ряды увитых диким виноградом домиков для прислуги и строго распланированная сеть всяких надворных построек, а за ними зеленели виноградники, пастбища, плодовые сады и ягодники. Была тут и насосная установка для артезианского колодца, и большой цементный плавательный бассейн, где сыновья судьи купались каждое утро, а в жаркую погоду и днем.

И все это обширное поместье было царством Бэка. Здесь он родился, здесь прожил все четыре года своей жизни. Конечно, были тут и другие собаки. В таком большом поместье их не могло не быть, но они в счет не шли. Они появлялись и исчезали, жили в тесных конурах или влачили незаметное существование где-то в глубине дома, вот как Тутс, японский мопсик, или Изабель, мексиканская собачка совсем без шерсти, нелепые существа, которые редко высовывали нос на вольный воздух и появлялись в саду или во

дворе. Кроме того, была в усадьбе целая компания фокстерьеров — десятка два, не меньше, — и они грозно лаяли на Тутса и Изабель, когда те смотрели на них из окон, находясь под защитой армии служанок, вооруженных половыми щетками и швабрами.

Но Бэк не был ни комнатной собачкой, ни дворовым псом. Вся усадьба была в его распоряжении. Он плавал в бассейне и ходил на охоту с сыновьями судьи. Он сопровождал его дочерей, Молли и Алису, когда они в сумерки или ранним утром отправлялись на прогулку. В зимние вечера он лежал у ног судьи перед пылающим камином в библиотеке. Он катал на спине внучат судьи или кувыркался с ними в траве и оберегал их во время смелых и чреватых опасностями вылазок до самого фонтана на заднем дворе и даже еще дальше, туда, где начинался выгон и ягодники. Мимо фокстерьеров он шествовал с высокомерным видом, а Тутса и Изабель попросту не замечал, ибо он был королем, властителем над всем, что ползало, бродило и летало в поместье судьи Миллера, включая и его двуногих обитателей.

Отец Бэка, Элмо, огромный сенбернар, был когда-то неразлучным спутником судьи, и Бэк

обещал стать достойным преемником отца. Он был не такой громадиной, как тот, весил только сто сорок фунтов, так как мать его, Шеп, была шотландская овчарка. Но и сто сорок фунтов веса, если к ним еще прибавить то чувство собственного достоинства, которое рождается от хорошей жизни и всеобщего уважения, дают право держать себя по-королевски. Четыре года — с самого раннего щенячьего возраста — Бэк вел жизнь пресыщенного аристократа, был преисполнен гордости и даже несколько эгоцентричен, как это иногда бывает со знатными господами, живущими в своих поместьях уединенно, вдали от света. Но Бэка спасало то, что он не стал избалованной комнатной собакой. Охота и тому подобные развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли мускулы. А купание в холодной воде закаляло его и сохраняло здоровье.

Так жил пес Бэк до той осени 1897 года, когда открытие золота в Клондайке привлекло на холодный Север людей со всех концов света. Бэк ничего об этом не знал, ибо не читал газет. Не знал он также, что дружба с Мануэлем, одним из подручных садовника, не сулит ему ничего доброго. За Мануэлем водился большой порок: страсть к китайской лотерее. К тому же у этого азартного

игрока была одна непобедимая слабость — он верил в свою систему, и потому было совершенно ясно, что он погубит свою душу. Чтобы играть по системе, нужны деньги, а жалованья младшего садовника едва хватало на нужды его жены и многочисленного потомства.

В памятный день предательства Мануэля судья Миллер уехал на собрание общества виноделов, а мальчики были заняты устройством спортивного клуба, поэтому никто не видел, как Мануэль и Бэк прошли через сад, отправляясь (так думал Бэк) на обыкновенную прогулку. И только один-единственный человек видел, как они пришли на маленький полустанок «Колледж-парк», где поезд останавливался по требованию. Человек этот потолковал о чем-то с Мануэлем, потом зазвенели деньги, переданные из рук в руки.

— Ты что же это, доставляешь товар без упаковки? — ворчливо заметил незнакомец, и Мануэль обвязал шею Бэка под ошейником сложенной вдвое толстой веревкой.

— Затянешь покрепче, так, чтобы у него дух перехватило, тогда не вырвется, — сказал Мануэль, а тот, чужой, в ответ что-то утвердительно промычал.

Бэк со спокойным достоинством позволил

надеть себе на шею веревку. Правда, это было для него ново, но он привык доверять знакомым людям, признавая, что они умнее его. Однако, когда концы веревки оказались в руках чужого, он угрожающе заворчал. Он просто выражал недовольство, в гордости своей воображая, что это будет равносильно приказанию. К его удивлению, веревку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохся. В мгновенном порыве бешенства он кинулся на обидчика, но тот опередил его: крепко сжал ему горло и ловким движением опрокинул на спину. Веревка безжалостно душила Бэка, но он, высунув язык, тяжело и шумно дыша всей могучей грудью, отчаянно боролся с человеком. Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и никогда в жизни он не был так разгневан! Однако силы скоро ему изменили, глаза остекленели, и он уже ничего не сознавал, когда подошел поезд и двое мужчин швырнули его в товарный вагон.

Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бэк понял, где находится. Он так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза. В них пылал неукротимый гнев пленен-

ного короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бэк на этот раз оказался проворнее. Он вцепился зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенный веревкой.

— Припадочный он! — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. — Хозяин приказал мне везти его в Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который берется его вылечить.

События этой ночи похититель Бэка излагал позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско со всем красноречием, на какое был способен.

— И всего-то навсего я получаю за это полсотни, — жаловался он. — Знал бы, так и за тысячу наличными не взялся бы!

Рука у него была обернута пропитанным кровью носовым платком, а правая штанина разодрана от колена до самого низу.

— А тот парень сколько взял за это дело? — поинтересовался кабатчик.

— Сотню. Ни за что не соглашался взять меньше!

— Итого, значит, сто пятьдесят, — сказал кабат-

чик. — А пес этих денег стоит, головой ручаюсь!

Похититель развернул платок и стал осматривать свою прокушенную руку.

— Только бы не оказался бешеный… А то еще помрешь…

— Не бойся, от этого не помрешь. Тебе на роду написано болтаться на виселице! — пошутил кабатчик. Потом добавил: — Ну-ка, подсоби мне немного, а потом потащишься дальше.

Ошеломленный, полузадушенный, страдая от нестерпимой боли в горле, Бэк все-таки пытался дать отпор своим мучителям. Но его каждый раз валили на пол и душили веревкой, пока не удалось распилить и снять с него массивный медный ошейник. После этого они сняли и веревку и втолкнули Бэка в решетчатый ящик, похожий на клетку.

В этой клетке он пролежал всю томительную ночь, распираемый гневом и оскорбленной гордостью. Он не мог понять, что все это значит. Чего им от него надо, этим чужим людям? Зачем они заперли его в тесную клетку? Бэк недоумевал, его угнетало смутное предчувствие грозящей ему беды. Несколько раз он вскакивал, услышав грохот открываемой двери, — он надеялся, что это пришел судья или хотя бы мальчики, но всякий

раз видел перед собой только опухшую физиономию кабатчика, который заглядывал в сарай, освещая его неверным огоньком сальной свечки. И радостный лай, уже рвавшийся из глотки Бэка, переходил в свирепое рычание.

Впрочем, кабатчик его не трогал. И только утром пришли четверо мужчин и подняли ящик. «Вот еще новые мучители», — подумал Бэк, потому что это были какие-то подозрительные люди, лохматые и оборванные. И он бесновался, рычал на них сквозь решетчатую стенку. Но они только смеялись и тыкали его палками. Он хватал палки зубами, пока не сообразил, что именно этого от него и добиваются. Тогда он угрюмо лег и лежал спокойно, пока ящик переносили в фургон.

И вот Бэк в своей клетке начал переходить из рук в руки. Сначала им занялись служащие транспортной конторы, его погрузили в другой фургон и повезли дальше. Затем, вместе с целой грудой ящиков и посылок, отправили на паром. С парома он попал на большой железнодорожный вокзал; и наконец его опять водворили в товарный вагон.

Два дня и две ночи вагон тащился за пронзительно гудевшим паровозом. И два дня и две ночи Бэк ничего не ел и не пил. Взбешенный, он на

заботы проводников отвечал рычанием, а они, в отместку, стали дразнить его. Когда он кидался к решетке, весь дрожа, с пеной у рта, они хохотали и потешались над ним, рычали и лаяли, как паршивые дворняги, мяукали, размахивали руками перед его носом и кукарекали. Бэк понимал, что это очень глупо, — но тем оскорбительнее это было для его достоинства, и гнев его рос и рос. Голод еще можно было терпеть, но он жестоко страдал от жажды, и она доводила его до исступления. При его чувствительности и восприимчивости дурное обращение не могло не повлиять на него, и он заболел. У него была высокая температура, к этому прибавилось еще воспаление горла и языка, распухших и сожженных жаждой.

Одно его радовало: на шее больше не было веревки. Пока она была, это давало его врагам немалое преимущество. Ну, а теперь, когда ее нет, он им покажет! Больше им не удастся надеть на него веревку! Это он решил твердо. Двое суток он ничего не ел и не пил, и за эти двое суток мучений в нем накопилось столько злобы, что незавидная участь ожидала того, кто первый его заденет. Глаза у Бэка были налиты кровью, он превратился в настоящего дьявола. Сейчас сам судья не узнал бы его, так он переменился за эти

дни, и проводники вздохнули с облегчением, когда наконец избавились от него, выгрузив его в Сиэтле.

Четверо носильщиков со всякими предосторожностями перенесли ящик с Бэком из фургона во дворик, окруженный высоким забором. Навстречу вышел плотный мужчина в красном вязаном свитере с сильно растянутым воротом и, взяв у возчика книгу, расписался в получении. «Новый мучитель», — решил Бэк и свирепо кинулся к решетке. Человек в свитере, мрачно усмехнувшись, вошел в дом и принес оттуда топор и дубинку.

— Неужто хотите его выпустить? — удивился возчик.

— Конечно, — ответил человек в свитере и вогнал топор в стенку ящика.

Все четыре носильщика моментально бросились врассыпную и заняли безопасные позиции на высоком заборе в ожидании предстоящего интересного зрелища.

Бэк бросался на трещавшую под топором стенку, грыз ее зубами, налегал на нее всем телом, воюя с нею. Где топор ударял снаружи, там пес, то рыча, то воя, атаковал дерево изнутри. Он делал бешеные усилия поскорее выбраться из клетки, а

человек в красном свитере был полон спокойной решимости выпустить его оттуда.

— Ну, красноглазый дьявол! — сказал он, когда отверстие расширилось настолько, что Бэк мог протиснуться в него. И, бросив топор, взял в правую руку дубину.

Бэк в этот миг действительно был страшен, как дьявол: он весь ощетинился и подобрался для прыжка, в налитых кровью глазах был безумный блеск, изо рта бежала пена. Уже он готовился обрушить на человека все сто сорок фунтов своего тела с яростью, дошедшей до предела, оттого что столько времени приходилось ее сдерживать. Он взвился в воздух и хотел мертвой хваткой вцепиться в своего врага, но в это самое мгновение получил такой удар, который на лету отбросил его назад. Щелкнув зубами от мучительной боли, Бэк перевернулся в воздухе и упал, ударившись о землю боком и спиной. Он ни разу в жизни не был бит палкой — и растерялся. С рычанием, в котором слышался жалобный визг, он вскочил и опять хотел кинуться на обидчика, но второй удар свалил его. Теперь он уже понимал, что виновата во всем дубинка, но в своей ярости забыл об осторожности. Раз десять он бросался — и всякий раз дубинка останавливала его на лету и

валила наземь.

После одного особенно жестокого удара Бэк еле поднялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бороться. Он шатался, из носа, пасти и ушей текла кровь, и его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной. Человек в красном свитере подошел к нему и хладнокровно, не спеша нанес ему страшный удар по морде. Вся боль, которую до сих пор перенес Бэк, была ничто в сравнении с этой. Зарычав, как лев, он опять кинулся на мучителя. Но тот, переложив дубину из правой руки в левую, спокойно схватил его за нижнюю челюсть и завертел им с такой силой, что Бэк описал полный круг в воздухе, потом полукруг — и грохнулся на землю головой и грудью.

Еще раз прыгнул Бэк на человека, но тот нанес ему сокрушительный удар, который умышленно приберег напоследок. Бэк свалился совершенно разбитый и оглушенный.

— Вот молодчина! — в восторге крикнул один из зрителей на заборе. — Этот любого пса усмирит!

— По-моему, безопаснее каждый день, а по воскресеньям и два раза взламывать кассы, чем иметь дело с этим псом, — заметил возчик, взбираясь на козлы, и погнал лошадей.

К Бэку вернулось сознание, но, совсем обессилев, он лежал на том же месте, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере.

— Отзывается на кличку «Бэк», — вслух сказал тот, читая письмо кабатчика из Сан-Франциско, извещавшее об отправке ящика с живым грузом. — Ну, Бэк, голубчик, — продолжал он весело, — пошумели мы с тобой, погорячились, а теперь лучше всего забудем об этом. Ты будешь знать свое дело, я — свое. Будешь послушной собакой — и все пойдет как по маслу, а вздумаешь буянить, так я из тебя дух вышибу. Понял?

Говоря это, он бесстрашно гладил голову, которую только что так беспощадно молотил, и хотя Бэк невольно ощетинивался при каждом его прикосновении, но терпел, не протестуя. Человек в свитере принес ему воды, и он жадно напился, а потом с такой же жадностью глотал роскошное угощение — сырое мясо, хватая его кусок за куском из рук нового хозяина.

Он был побежден (он это понимал), но не покорен и не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, вооруженный дубиной, сильнее его, и полученный урок запомнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откровением. Она ввела его в мир, где царит первобытный закон. И Бэк быст-

ро усвоил этот закон. Ему открылась жестокая правда жизни, но она его не запугала: в нем уже пробуждалась природная звериная хитрость.

Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревке. Одни были очень послушны и тихи, другие бесновались и выли, как Бэк вначале. И на глазах у Бэка человек в красном свитере укрощал всех до единой, покоряя своей власти. Бэк наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялась в его сознание открытая им истина: человек с дубиной — законодатель, хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно любить его. И Бэк, повинуясь, никогда не ластился к хозяину, не вилял хвостом и не лизал ему руку, как это делали не раз у него на глазах побитые собаки. Видел он также, как одна собака, не желавшая ни смириться, ни подчиниться, в конце концов была убита.

Время от времени приходили чужие люди, толковали о чем-то с хозяином сердито или заискивающе. И когда после таких разговоров из их рук в руки хозяина переходили деньги, эти люди уводили с собой одну или несколько собак. Бэк задавал себе вопрос, куда же они уходят, ибо они никогда больше не возвращались. Будущее так

сильно страшило его, что он каждый раз радовался, когда покупатели выбирали не его.

Но в конце концов наступил и его черед. Пугавшее его будущее явилось в лице высохшего, морщинистого человечка, который говорил на ломаном английском языке и то и дело разражался какими-то странными, резкими восклицаниями, смысл которых был непонятен Бэку.

— Sacredam![1] — крикнул он, когда взгляд его упал на Бэка. — Вот это пес! Первоклассный пес! Ото! А сколько?

— Всего три сотни. Просто даром отдаю, — быстро ответил человек в красном свитере. — Не станешь же ты торговаться да артачиться, Перро? Деньги ведь не твои, а казенные.

Перро только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак, цены на них были бешеные, так что сумма, запрошенная за такую великолепную собаку, как Бэк, не показалась ему чрезмерной.

Канадское правительство не разорится на этой покупке, а его почта должна перевозиться быстро. Перро знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что такие собаки, как Бэк, встре-

---

[1] Примечания: 1
Черт побери! *(Испорч. фр.)*

чаются одна на тысячу. «Даже одна на десять тысяч», — мысленно поправил он себя.

Бэк видел, как деньги перешли из рук в руки, и не удивился, когда морщинистый человечек забрал с собой его и добродушного ньюфаундленда Кэрли. Больше Бэк никогда не видел человека в красном свитере. А когда он и Кэрли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше никогда не увидят и теплый юг.

Перро увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа. У Перро, канадского француза, кожа была смуглая, но у Франсуа вдвое темнее, потому что Франсуа был метис. Бэк впервые видел людей этой породы (впоследствии ему пришлось встречать много таких), и, хотя он не полюбил их, он честно отдавал им должное и научился их уважать. Он скоро убедился, что Перро и Франсуа — люди справедливые, спокойные, что наказывают они только за дело, без всякого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки, так что их никакая собака не проведет.

На пароходе Бэка и Кэрли поместили вместе с двумя другими собаками. Одна была большая, снежно-белая, ее вывез с острова Шпицберге-

на капитан китобойного судна, а позднее она сопровождала геологическую экспедицию в Бесплодную Землю. Это был пес очень ласковый, но коварный, он способен был ласкаться и в то же время готовить другому какую-нибудь пакость: так он при первой же общей кормежке стянул у Бэка часть его порции. Бэк кинулся на него, чтобы наказать за это, но Франсуа опередил его: бич свистнул в воздухе и обрушился на вора. Бэку оставалось только подобрать свою кость.

Он увидел, что Франсуа поступает справедливо, и с этих пор проникся уважением к метису.

Другой пес не ластился ни к кому и не вызывал ни в ком симпатии, но зато и не делал попыток воровать еду у новичков. Он был сурового, угрюмого нрава и ясно дал понять Кэрли, что желает только одного: чтобы его не задевали, а кто его заденет, тому плохо придется. Этот пес — его звали Дэйв — только ел и спал, а когда не спал, то все позевывал, и ничто решительно его не интересовало. Даже когда «Нарвал» проходил залив Королевы Шарлотты и качался, вставал на дыбы, метался, как бешеный, а Бэк и Кэрли чуть с ума не сошли от страха, Дэйв только с недовольным видом поднимал иногда голову и, едва удостоив их равнодушным взглядом, зевал, потом снова

засыпал.

Дни и ночи пароход весь дрожал, сотрясаемый неутомимой и ритмичной, как пульс, работой винта. Один день был похож на другой, но Бэк замечал, что становится все холоднее. Наконец однажды утром стук винта затих, и на «Нарвале» поднялась суета. Бэк, как и другие собаки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что предстоит какая-то перемена. Франсуа взял их всех на сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную поверхность, Бэк почувствовал, что его лапы погрузились в какую-то кашу, очень похожую на белую грязь. Он зафыркал и отскочил назад. Такая же белая каша падала сверху. Бэк отряхнулся, но она все сыпалась и сыпалась на него. Он с любопытством понюхал ее, потом лизнул языком. Она обжигала, как огонь, и сразу таяла на языке. Это поразило Бэка, он лизнул опять — с тем же результатом. Вокруг загоготали, и ему почему-то стало стыдно, хотя он не понимал, над чем эти люди смеются. Так Бэк впервые увидел снег.

Глава 2
Закон дубины и клыка

Первый день на берегу в Дайе показался Бэку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось блаженное и ленивое существование под солнцем юга, когда он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бэк не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении и действии, царила вечная сумятица, и каждую минуту грозило увечье или смерть. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку, потому что и собаки и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Все они были дикари и не знали других законов, кроме закона дубины и клыка.

Никогда раньше Бэк не видел, чтобы собаки дрались между собой так, как здешние: это были настоящие волки, и первый же опыт послужил Бэку незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал, иначе он не вышел бы из

нее живым и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Кэрли.

Их обоих оставили около бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Кэрли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Кэрли. И вдруг, без всякого предупреждения, — быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожее на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок — и морда у Кэрли оказалась разодранной от глаз до пасти.

Такая была у этих собак волчья повадка — напасть и тотчас отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались тридцать, а то и сорок лаек и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бэк сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Кэрли бросилась на своего противника, а тот снова укусил ее и отскочил. Второй ее наскок он встретил грудью и так ловко отразил его, что Кэрли не устояла на ногах. Только того и ждали наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Кэрли уже не удалось: с визгом и рычанием они сгрудились вокруг нее, и, скуля в предсмертной муке, Кэрли исчезла под кучей мохнатых тел.

Все это произошло так внезапно и так неожиданно, что Бэк совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергенский пес высунул красный язык, — это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Трое мужчин, схватив дубины, быстро помогли ему разогнать собак. Через две минуты после того, как Кэрли упала, последний из нападавших был отогнан прочь. Но Кэрли лежала на залитом кровью, истоптанном снегу мертвая, разорванная чуть не в клочья. А темнокожий метис стоял над ней и отчаянно ругался.

Эта картина часто потом вспоминалась Бэку и тревожила его даже во сне. Так вот какова жизнь! В ней нет места честности и справедливости. Кто свалился, тому конец. Значит, надо держаться крепко! Шпиц снова высунул язык и засмеялся, и с этой минуты Бэк возненавидел его жестокой, смертельной ненавистью.

Не успел Бэк опомниться после трагической гибели Кэрли, как его ждало новое потрясение: Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах в

окаймлявший долину лес за дровами. То, что его заставляли ходить в упряжке, больно ранило его самолюбие, но у него хватило ума не бунтовать. Он переломил себя и постарался работать хорошо, хотя все это было для него ново и странно.

Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бэка Дэйв, опытный коренник, хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был Шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дэйв, и если ему не удавалось цапнуть Бэка, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Бэку ученье давалось легко, и под совместным руководством своих двух товарищей и Франсуа он делал поразительные успехи. Раньше чем они вернулись в лагерь, он уже знал, что крик «хо!» означает «остановись», а по команде «марш» следует бежать вперед; что на поворотах надо умерять бег, а когда нарты с грузом летят под гору — держаться подальше от коренника.

— Все три собаки очень хороши, — сказал Франсуа по возвращении, увидев Перро. — Этот Бэк здорово работает! Я его очень скоро вышколю.

Днем Перро, которому надо было спешно везти правительственную почту, привел еще двух собак, Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга, как день от ночи. Единственным недостатком Билли было разве его чрезмерное добродушие, а Джо, напротив, был угрюм, замкнут и раздражителен. Он постоянно ворчал и злобно смотрел на всех.

Бэк встретил Билли и Джо по-товарищески, Дэйв не обратил на них никакого внимания, а Шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел бежать, да не успел. Острые зубы Шпица впились ему в бок, и он взвыл, но и тут не воинственно, а жалобно и умоляюще. Зато Джо, с какой бы стороны Шпиц ни пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола; это было воплощение враждебности и вместе с тем ужаса. Вид его был до того страшен, что Шпицу пришлось отказаться от намерения проучить его. Чтобы скрыть свое поражение, он опять накинулся на безответного, все еще жалобно скулившего

Билли и загнал его на самый конец лагеря.

К вечеру Перро добыл себе еще одну ездовую собаку, старую, поджарую лайку с длинным и гибким телом. Морда у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел только один глаз. Но этот единственный глаз сверкал дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем невольное уважение. Кличка пса была Соллекс, то есть Сердитый. Он, как и Дэйв, ничего от других не требовал, ничего не ждал и никому спуску не давал. И когда он неторопливо и важно подошел к остальным, даже Шпиц не посмел его задирать. У Соллекса была одна слабость, и Бэк, на свою беду, первый открыл ее: кривой пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны слепого глаза. Именно такую неприятность причинил ему ничего не подозревавший Бэк и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Соллекс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на три дюйма, до самой кости. После этого Бэк никогда больше не подходил к Соллексу с запретной стороны, и Соллекс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дэйв, видимо, желал только одного: чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бэк скоро убедился, что и тот и другой одержимы еще иным, более высоким

стремлением.

В первую же ночь перед Бэком встал важный вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне естественным, что его место там. Но когда он вошел, Перро и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он не очнулся от растерянности и позорно бежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер и больно сек тело, особенно безжалостно впиваясь в раненое плечо. Бэк лег на снег и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечка потеплее и не находя его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но он, ощетинившись, грозно рычал на них (этому тоже он быстро научился), и они оставляли его в покое.

Наконец его осенило: надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной! Они куда-то исчезли. Опять Бэк пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть, — ведь вот его, Бэка, прогнали оттуда! Так куда же они де-

вались? Весь дрожа, опустив хвост, он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег под его передними лапами подался, и он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бэк отбежал, ворча, шерсть у него встала дыбом. Но тихое дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздрей его коснулась струя теплого воздуха: уютно свернувшись клубочком, под снегом в ямке лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом, доказывая этим свои добрые намерения и расположение к Бэку, и, чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком.

Еще один урок: значит, вот как здесь спасаются от холода! Бэк уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого, трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дурными снами.

Разбудил его только утром шум просыпавшегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила,

напирала со всех сторон. И на Бэка вдруг напал страх, страх дикого зверя перед западней. То было признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков, ибо этот цивилизованный, даже не в меру цивилизованный пес в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться. А между тем тело его судорожно сжималось, шерсть на шее и плечах встала дыбом, и он с диким рычанием выскочил из ямы, прямо на свет ослепительного утра, взметнув вокруг целое облако искрящегося снега. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он, сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем, и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору для ночевки.

Франсуа приветствовал его криком.

— Ну, что я говорил? — воскликнул он, обращаясь к Перро. — Этот Бэк мигом всему выучивается!

Перро с серьезным видом кивнул головой. Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бэк.

Не прошло и часа, как он купил еще трех ездо-

вых собак для своей упряжки, так что всего их теперь было девять, а еще через четверть часа они уже были запряжены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону. Бэк радовался перемене, и хотя работа была тяжелая, он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил азарт, который проявляли все его товарищи, но потом этот азарт заразил и его. А всего удивительнее была перемена, происшедшая с Дэйвом и Соллексом. Казалось, упряжь преобразила их — это были сейчас совсем другие собаки. Всю вялость и невозмутимое равнодушие с них как рукой сняло. Откуда взялись прыть и энергия! Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка бежала хорошо, и бесновались, когда возникала задержка или замешательство среди собак. Казалось, труд этот был высшим выражением их существа, в нем была вся их жизнь и единственная радость.

Дэйв был коренником, а впереди, между ним и Соллексом, впрягли Бэка. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех — вожак Шпиц.

Бэка поместили между Дэйвом и Соллексом нарочно, для того чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником, а они — хороши-

ми учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи своих острых зубов. Дэйв был пес справедливый и разумный. Он никогда напрасно не обижал Бэка, но зато, когда Бэк этого заслуживал, не упускал случая куснуть его, а бич Франсуа в этих случаях еще подбавлял свое, так что Бэк пришел к заключению, что подтянуться и избегать промахов выгоднее, чем огрызаться. Раз во время короткой остановки он запутался в постромках и задержал отправление. Дэйв и Соллекс дружно напали на него и здорово проучили. Это еще усилило кавардак, но зато Бэк потом очень старался не путать постромки: к концу дня он уже так хорошо справлялся со своими обязанностями, что учителя почти перестали кусать его. Бич Франсуа все реже щелкал над его головой, а Перро даже почтил его особым вниманием: одну за другой поднял его лапы и заботливо осмотрел их.

Переход, который они сделали за первый день, оказался тяжелым. Они шли вверх по каньону через Овечий Лагерь, мимо Весов и границы леса, шли через ледники и снежные сугробы высотой в несколько сот футов, перевалили через великий Чилкут, который тянется между солеными и пресными водами и, как грозный страж, охраняет

подступы к печальному, пустынному Северу. Они благополучно проделали весь путь по целой цепи замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где тысячи золотоискателей строили лодки, готовясь к весеннему ледоходу. Тут Бэк вырыл себе нору в снегу и уснул сном утомленного праведника, но выспаться не удалось — его очень скоро извлекли из ямы и во мраке морозной ночи запрягли в нарты вместе с другими собаками.

В тот день они прошли сорок миль, так как дорога была укатана. Зато на другой день и в течение еще многих дней они вынуждены были сами прокладывать себе тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Обычно Перро шагал впереди упряжки и утаптывал снег своими лыжами, чтобы собакам легче было бежать, а Франсуа поворотным шестом направлял нарты. По временам они с Перро менялись местами, но это бывало не часто. Перро торопился, и притом он считал, что лучше Франсуа умеет определять на глаз толщину льда, а это было очень важно, так как осенний лед был еще очень ненадежен. В местах, где течение быстрое, его и вовсе не было.

Изо дня в день (казалось, им конца не будет,

этим дням) Бэк шел в упряжке. Привал делали всегда лишь с наступлением темноты, а едва только небо начинало светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади милю за милей. И опять только вечером, в темноте, разбивали лагерь; собаки получали свою порцию рыбы и зарывались в снег, чтобы поспать. У Бэка аппетит был волчий. Его дневной паек состоял из полутора фунтов вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он никогда не наедался досыта и постоянно испытывал муки голода. А между тем другие собаки, весившие меньше и более приспособленные к такой жизни, получали только по фунту рыбы и умудрялись как-то сохранять бодрость и силы.

Бэк очень скоро перестал привередничать, как когда-то дома, на Юге. У него была привычка есть не спеша, разборчиво, но он скоро заметил, что его товарищи, быстро покончив со своими порциями, таскали у него недоеденные куски. Уберечь свой паек ему не удавалось — в то время как он сражался с двумя или тремя ворами, его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть так же быстро, как они. Голод до такой степени мучил его, что он готов был унизиться до кражи. Он наблюдал, как это делают другие, и учился

у них. Приметив, что Пайк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, ловко стащил ломтик грудинки у Перро, когда тот отвернулся, Бэк на другой день проделал тот же маневр и, схватив весь кусок грудинки, удрал. Поднялась страшная суматоха, но он остался вне подозрений, а за его преступление наказали Даба, растяпу, который всегда попадался.

Эта первая кража показала, что Бэк способен выжить и в суровых условиях Севера. Она свидетельствовала о его умении приспособляться к новой обстановке. Не будь у него такой способности, ему грозила бы скорая и мучительная смерть. Кроме того, кража была началом его морального падения. Все его прежние нравственные понятия рушились, в беспощадно жестокой борьбе за существование они были только лишней обузой. Они были уместны на Юге, где царил закон любви и дружбы, — там следовало уважать чужую собственность и щадить других. А здесь, на Севере, царил закон дубины и клыка, и только дурак стал бы здесь соблюдать честность, которая мешает жить и преуспевать.

Конечно, Бэк не рассуждал так — он попросту инстинктивно приноровлялся к новым условиям. Никогда в жизни он не уклонялся от борьбы,

даже когда силы были неравны. Однако палка человека в красном свитере вколотила ему более примитивные, но жизненно необходимые правила поведения. Пока Бэк оставался цивилизованной собакой, он готов был умереть во имя своих идей морального порядка — скажем, защищая хлыст для верховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же его готовность пренебречь этими идеями и спасать собственную шкуру показывала, что он возвращается в первобытное состояние. Воровал он не из любви к искусству, а подчиняясь настойчивым требованиям пустого желудка. Он грабил не открыто, а потихоньку, со всякими предосторожностями, ибо уважал закон дубины и клыка. Словом, он делал все то, что делать было легче, чем не делать.

Он развивался (или, вернее, дичал) очень быстро. Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он теперь был нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Он получал хорошую закалку, и внешнюю и внутреннюю. Есть он мог всякую пищу, хотя бы самую противную и неудобоваримую. И желудок его извлекал из съеденного все, что было в нем питательного, до последней крупицы, а кровь разносила переработанную пищу в самые отдаленные уголки тела, вырабатывая из нее

крепчайшую и прочнейшую ткань. У Бэка было превосходное зрение и тонкое обоняние, а слух достиг такой остроты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук возвещает — спокойствие или опасность. Он научился выгрызать лед, намерзавший у него между пальцами, и когда ему хотелось пить, а вода в водоеме была покрыта толстым слоем льда, он умел пробивать его своими сильными передними лапами. Но самой примечательной была способность Бэка чуять ветер — он предугадывал его направление за целую ночь вперед. И в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору под деревом или на берегу в таком месте, что, если потом налетал ветер, его нора всегда оказывалась с подветренной стороны, и в ней было тепло и уютно.

Все это Бэк постигал не только опытом — в нем всколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты. А то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Смутными, невнятными голосами заговорила в нем далекая юность его рода, то время, когда дикие собаки стаями рыскали по девственным лесам и, загоняя добычу, убивали ее. И Бэк скоро научился пускать в ход когти и зу-

бы, у него появилась быстрая волчья хватка. Так именно дрались его забытые предки. Оживало в нем далекое прошлое, и те старые повадки, что были наследственными в его роде и передавались из поколения в поколение, теперь стали его повадками. Он усвоил их без всяких усилий, не видя в них ничего нового и удивительного, как будто они всегда были ему свойственны. И когда в тихие холодные ночи Бэк поднимал морду к звездам и выл протяжно и долго, по-волчьи, — это его предки, давно обратившиеся в прах, выли в нем, как выли они на звезды веками. В вое Бэка звучали те же самые ноты — в нем изливались тоска и все чувства, рожденные в душе тишиной, мраком и холодом.

Так, словно в доказательство того, что все мы — марионетки в руках природы, древняя песнь предков рвалась из груди Бэка, и он постепенно возвращался к истокам своего рода. А случилось это потому, что люди на Севере нашли желтый металл, и еще потому, что подручный садовника, Мануэль, получал жалованье, которого едва хватало на нужды жены и ватаги отпрысков, маленьких копий его самого.

Глава 3
Первобытный зверь восторжествовал

Первобытный зверь был еще силен в Бэке, и в жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Но это оставалось незаметным. Пробудившаяся в Бэке звериная хитрость помогала ему сдерживать свои инстинкты. К тому же необходимость приспособляться к новой обстановке держала его в постоянном напряжении и требовала таких усилий, что он не только не бунтовал и не лез в драку, но по возможности избегал всяких стычек. В его поведении заметна стала некоторая осторожность и осмотрительность. Он не был склонен к стремительным и опрометчивым действиям. И хотя между ним и Шпицем разгорелась смертельная вражда и ненависть, он никогда не проявлял раздражения и никогда первый не задевал своего врага.

Шпиц же, наоборот, не упускал случая показать зубы — вероятно, потому, что он угадывал в Бэке опасного соперника. Он из кожи лез, постоянно стараясь раздразнить Бэка и затеять драку, кото-

рая, несомненно, окончилась бы смертью одного из них. Такая схватка едва не произошла уже в самом начале пути, помешал только непредвиденный случай. Однажды, уже к концу дня, нарты остановились на берегу озера Ле-Барж, в не защищенной от ветра унылой местности. Метель, темнота и сильный ветер, который, словно раскаленным ножом, сек кожу, вынудили людей поискать места для привала. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной поднималась отвесная скала, и пришлось Перро и Франсуа развести костер и разостлать свои спальные мешки прямо на льду озера. Палатку они бросили в Дайе, чтобы путешествовать налегке. Собрав немного хвороста, занесенного сюда водой во время разлива, они разожгли костер, но огонь только растопил лед вокруг и погас, так что ужинать пришлось в темноте.

Бэк вырыл себе нору под самой скалой, укрывавшей его от ветра. В этом убежище было так уютно и тепло, что он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раздавать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над огнем. Когда Бэк, съев свою порцию, вернулся на старое место, оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание возвестило ему, что захватчик — Шпиц. До тех

пор Бэк избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдержал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на Шпица с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенности для Шпица, который привык думать, что его соперник — крайне трусливый пес и спасают его только сила и вес.

Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкатились из разоренного логова. Но он сразу угадал причину ссоры.

— Ага! — закричал он Бэку. — Так его! Задай ему хорошенько, этому паршивому вору!

Шпиц рвался в бой. Он выл от ярости и нетерпения, вертясь вокруг Бэка и ожидая удобного момента для наскока. Бэк был в таком же возбуждении и, тоже соблюдая осторожность, описывал круги вокруг Шпица. Но тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому бою за первенство. Он состоялся лишь значительно позднее, когда уже было пройдено много миль тяжкого, утомительного пути.

Голос Перро, выкрикивавшего ругательства, звучные удары дубиной по костлявой спине и резкие крики боли послужили как бы сигналом к поднявшейся затем адской сумятице. Лагерь внезапно ожил и закишел мохнатыми телами. Это добрая сотня голодных собак, учуяв запах

лагеря, примчалась сюда из какой-то ближней индейской деревни.

В то время как Бэк и Шпиц вступили в драку, эти непрошеные гости забрались в лагерь, а когда Перро и Франсуа прибежали с дубинами, разъяренные собаки кинулись на них. Запах еды доводил их до безумия. Перро, увидев, что один пес уже сунул морду в ящик с провизией, обрушил на его худые бока свою тяжелую дубину. Ящик опрокинулся — и в тот же миг изголодавшиеся животные набросились на хлеб и грудинку и стали грызться из-за них. Тут уже дубины заработали вовсю. Собаки выли и визжали под градом ударов, но продолжали яростно драться из-за добычи и не отошли, пока не сожрали все до последней крошки.

Тем временем все собаки Перро в испуге вылезли из своих ям. Свирепые пришельцы немедленно напали на них. Никогда еще Бэк не видел таких собак. У них можно было пересчитать все ребра. Это были настоящие скелеты, обтянутые грязными шкурами. Глаза у них горели, с клыков текла пена; обезумевшие от голода, они были страшны, неодолимы. В первой же схватке ездовые собаки были отброшены к скале. На Бэка напали сразу три чужих пса и в один миг изгрызли ему плечи и

морду. Шум стоял ужасающий. Билли, как всегда, жалобно скулил. Дэйв и Соллекс, покрытые ранами, истекавшие кровью, мужественно сражались бок о бок. Джо кусался, как бешеный. Он впился зубами в переднюю ногу одной из чужих собак и прогрыз кость. А хитрый Пайк прыгнул на искалеченного пса и сразу сломал ему шею. Бэк вцепился в горло своему противнику, который с пеной у рта наскочил на него. Кровь хлынула и забрызгала его всего. Вкус теплой крови во рту еще сильнее разъярил Бэка. Он кинулся на другую собаку, но в тот же миг почувствовал, что чьи-то зубы вонзились ему в шею. Это Шпиц предательски напал на него сбоку.

Перро и Франсуа, очистив от нападающих часть лагеря, кинулись выручать своих собак. При их появлении буйная лавина голодного зверья откатилась назад, и Бэк стряхнул повисшего на нем Шпица. Но затишье длилось несколько секунд. Перро и Франсуа убежали — им нужно было спасать съестные припасы, — и собаки индейцев снова напали на их упряжку. С храбростью отчаяния Билли прорвался сквозь кольцо осатаневших врагов и побежал по льду озера. За ним по пятам ринулись Пайк и Даб, а потом и все остальные собаки Перро. В тот момент, когда Бэк уже хотел

прыгнуть на лед, он уголком глаза заметил, что Шпиц мчится к нему с явным намерением сбить его с ног. Если бы Бэк упал, он очутился бы под ногами гнавшейся за ними своры и гибель его была бы неминуема. Но он напряг все силы, отбросил Шпица и помчался вслед за другими по озеру.

Через некоторое время все девять собак упряжки собрались вместе и укрылись в лесу. За ними больше никто не гнался, но они были в самом плачевном состоянии. У каждой оказалось не менее четырех-пяти ран, а некоторые пострадали очень тяжело. У Даба была сильно повреждена задняя нога, у Долли (собака, которая была куплена в Дайе и попала в их упряжку последней) на шее зияла страшная рана, Джо лишился глаза, а добряк Билли визжал и скулил всю ночь — у него ухо было изодрано в клочья. На рассвете они через силу поплелись обратно на стоянку и увидели, что мародеры исчезли. Франсуа и Перро были вне себя. Добрая половина провианта оказалась уничтоженной. Мало того, голодные псы изгрызли даже ремни и брезентовые покрышки. Все, что хоть мало-мальски могло сойти за съедобное, не миновало их зубов. Они сожрали мокасины Перро из лосиной кожи, выгрызли большие куски из ременной упряжи, и даже бич Франсуа

стал короче на два фута. Погонщик оторвался от унылого созерцания его и стал осматривать израненных собак.

— Ай-ай-ай, детки! — сказал он тихо. — Как вы искусаны! А вдруг вы теперь взбеситесь! Ч-черт! Ведь все могут взбеситься! Как думаешь, Перро?

Курьер в тревоге покачал головой. До Доусона[2] было еще четыреста миль — не хватало только, чтобы собаки взбесились! После двух часов усиленной работы и смачной ругани упряжь была приведена в порядок, и собаки, несмотря на ноющие раны, помчали нарты дальше, с мучительными усилиями одолевая самую трудную часть пути. Нигде еще им не приходилось так туго, как на этом перегоне.

Тридцатимильная река ничуть не замерзла. Ее бурное течение спорило с морозом, и только в тихих заводях держался лед. Шесть дней изматывающих усилий потребовалось, чтобы пройти эти ужасные тридцать миль. Каждый шаг грозил смертью и собакам и людям. Двадцать раз Перро, исследовавший дорогу, проваливался под лед. Спасал его только длинный шест — он держал его таким образом, что шест всякий раз при падении

---

[2] Примечания: 2

Доусон — город в Северной Канаде у впадения Клондайка в Юкон. Центр золотоносного края.

ложился поперек полыньи. Мороз все крепчал, термометр показывал пятьдесят градусов ниже нуля; и после каждого такого купания Перро приходилось разводить костер и высушивать одежду, чтобы уберечься от смертельной простуды.

Но его ничто не пугало. Именно потому, что он был такой бесстрашный, его назначили правительственным курьером. Перро шел на какой угодно риск и, решительно подставляя морозу свое худое, морщинистое лицо, боролся со всякими трудностями изо дня в день, с рассвета до темноты.

Он шагал вдоль неприветных берегов реки по кромке льда, хотя лед трещал и подавался под ногами и на нем страшно было хоть на миг остановиться. Раз нарты вместе с Дэйвом и Бэком провалились в воду, собаки чуть не захлебнулись, и их вытащили полузамерзшими. Для спасения их жизни пришлось разжечь костер. Они были покрыты толстой ледяной корой, и, для того чтобы она оттаяла, Франсуа и Перро заставили их бегать вокруг костра так близко к огню, что он опалял на них шерсть.

В другой раз провалился Шпиц и потащил за собой всю упряжку вплоть до Бэка. Бэк напряг силы, чтобы удержаться на льду, и стал пятиться,

упираясь передними лапами в скользкий край полыньи, хотя лед кругом трещал и ломался. К счастью, за Бэком был впряжен Дэйв, и он тоже изо всех сил пятился назад, а за нартами стоял Франсуа и тянул их на себя так, что у него суставы трещали.

А однажды кромка льда у берега проломилась и впереди и позади нарт. Оставался только один путь к спасению — отвесная скала. Перро каким-то чудом взобрался на нее, пока Франсуа, стоя внизу, молил бога, чтобы это чудо свершилось. Связав вместе ремни, постромки, всю имевшуюся у них упряжь в длинную веревку, они втащили всех собак одну за другой на вершину скалы. Последним полез Франсуа, когда и нарты и вся поклажа были подняты наверх. Потом начались поиски места, где бы можно было снова спуститься вниз. В конце концов спустились при помощи той же веревки, и ночь застала их уже опять на реке. За этот день они прошли всего четверть мили.

К тому времени, как дошли до Хуталинква, где лед был уже крепкий, Бэк совсем измучился. В таком же состоянии были и остальные собаки. Тем не менее Перро решил наверстать потерянное время и гнал их вперед и вперед. В первый день

они сделали тридцать пять миль и очутились у Большого Лосося. На второй день прошли еще тридцать пять, до Малого Лосося, на третий — сорок миль и уже приближались к порогам Пяти Пальцев.

У Бэка ноги были не такие крепкие и выносливые, как у собак Севера. С тех пор, как последний из его диких предков был приручен пещерным человеком или обитателем свайных построек, собаки его породы, поколение за поколением, становились все более изнеженными. Бэк целый день плелся, прихрамывая и терпя мучительную боль в ногах, а вечером на стоянке падал на землю, как мертвый. Даже голод не мог поднять его с места, когда раздавали рыбу, и Франсуа приходилось относить ему его порцию. Тот же Франсуа каждый вечер после ужина полчаса растирал ему лапы и пожертвовал верхней частью своих мокасин, сшив Бэку мокасины на все четыре лапы. Это очень облегчило страдания собаки. Даже сморщенное лицо Перро расплылось в улыбку, когда раз утром Франсуа забыл надеть Бэку эти мокасины, а Бэк лег на спину и просительно махал в воздухе всеми четырьмя лапами, не желая тронуться в путь, пока его не обуют. Постепенно лапы у него огрубели, закалились, и износивши-

еся к тому времени мокасины были выброшены.

Однажды утром, на стоянке у Пелли, когда запрягали собак, совершенно неожиданно взбесилась Долли, у которой до этого дня не замечали никаких подозрительных признаков. Она вдруг завыла по-волчьи, таким жутким, душераздирающим воем, что у других собак от страха шерсть встала дыбом, и бросилась прямо к Бэку. Бэк в первый раз в жизни видел взбесившуюся собаку и потому не знал, что ее надо бояться. Тем не менее он в инстинктивном ужасе бросился бежать от нее. Он летел прямо вперед, а на расстоянии одного прыжка за ним гналась Долли, тяжело и шумно дыша, и с морды у нее капала пена. Бэка гнал вперед ужас, а Долли — бешенство, и ни она не могла настичь его, ни он — убежать от нее. Бэк, нырнув в чащу кустарника, выбежал на нижний конец острова, переплыл через какой-то пролив, загроможденный льдинами, выбрался на другой остров, потом на третий. Описав круг, он вернулся к главному руслу реки и в панике помчался по льду. Не оглядываясь, он все время слышал за собой, на расстоянии одного прыжка, ворчание Долли. Когда он пробежал таким образом четверть мили, он услышал зов Франсуа и повернул назад. Задыхаясь, с трудом ловя ртом

воздух, он бежал к Франсуа все так же, на один скачок впереди Долли. Вся надежда была на то, что погонщик спасет его. Франсуа держал наготове топор, и, когда Бэк пролетел мимо, топор обрушился на голову взбесившейся Долли.

Без сил, еле переводя дух, Бэк доковылял до нарт, но тут Шпиц, воспользовавшись его беспомощностью, наскочил на него и, не встретив сопротивления, вцепился в него зубами. Он в двух местах прокусил мясо до самой кости и расправлялся с Бэком, пока не подоспел Франсуа. Бич свистнул над головой Шпица, и Бэк имел удовольствие видеть, как его враг получил такую трепку, какой еще ни разу не задавали ни одной из собак упряжки.

— Вот дьявол этот Шпиц! — сказал Перро. — Он когда-нибудь загрызет Бэка.

— Ничего, в Бэке сидит не один, а два дьявола! — отозвался Франсуа. — Я за ним наблюдаю все время, и знаешь, что я тебе скажу? В один прекрасный день он так озвереет, что разжует твоего Шпица и выплюнет на снег. Уж ты мне поверь!

С этих пор между Бэком и Шпицем шла открытая война. Шпиц, вожак и признанный глава всей упряжки, видел в этом странном южанине угрозу своему первенству. Странным Бэк казался

ему оттого, что до сих пор ни одна из собак Юга, которых Шпиц знавал множество, не могла тягаться с местными ни на лагерных стоянках, ни в пути. Все эти пришельцы с Юга были слишком изнежены и погибали от непосильной работы, морозов, голода. Бэк был единственным исключением. Он все выдержал, он приспособился к новой жизни и преуспевал, не уступая северянам в силе, свирепости и храбрости. Притом он был властолюбив, а дубинка человека в красном свитере, выбив из него прежнюю безрассудную отвагу и запальчивость, сделала его особенно опасным противником. Он был необыкновенно хитер и, стремясь к первенству, умел выжидать удобного случая с той терпеливой настойчивостью, которая отличает дикарей.

Бой за первенство неизбежно должен был произойти, и Бэк хотел этого. Он хотел этого потому, что такая у него была натура, и потому, что им всецело овладела та непостижимая гордость, которая побуждает ездовых собак до последнего вздоха не сходить с тропы, с радостью носить свою упряжь и умирать с горя, если их выгонят из упряжки. Эта гордость просыпалась и в Дэйве, когда его впрягали на место коренника, она заставляла Соллекса тянуть нарты, напрягая

все силы. Она воодушевляла всех собак, когда приходило время отправляться в путь, и преображала угрюмых и раздражительных животных в полных энергии, честолюбивых и неутомимых тружеников. Эта гордость подстегивала их в течение всего дня и покидала только вечером, на привале, уступая место мрачному беспокойству и недовольству. Вожак Шпиц именно из этой профессиональной гордости кусал тех собак, которые сбивались с ноги и путались в постромках или прятались по утрам, когда нужно было впрягаться. Из того же чувства гордости Шпиц боялся, как бы Бэка не поставили вожаком вместо него, а Бэк стремился стать вожаком.

Бэк теперь открыто добивался места вожака. Он становился между Шпицем и лентяями, которых тот хотел наказать, и делал это умышленно. Както ночью выпало много снега, и утром ленивый и жуликоватый Пайк не пришел к нартам. Он спрятался в вырытую им нору глубоко под снегом, и Франсуа тщетно искал и звал его. Шпиц был в бешенстве. Он метался по лагерю, обнюхивая и раскапывая каждое подозрительное место, и рычал так свирепо, что Пайк, слыша это рычание, дрожал от страха в своем убежище.

Однако, когда его наконец извлекли оттуда и

Шпиц налетел на него с намерением задать ему трепку, Бэк вдруг с не меньшей яростью бросился между ними. Это был такой неожиданный и ловкий маневр, что Шпиц, отброшенный назад, не устоял на ногах. Пайк, противно дрожавший от малодушного страха, сразу ободрился, увидев такой открытый мятеж, и напал на поверженного вожака. Да и Бэк, уже позабывший правила честного боя, тоже бросился на Шпица. Но тут уже Франсуа, хотя его все это и позабавило, счел своей обязанностью восстановить справедливость и изо всей силы стегнул Бэка бичом. Это не оторвало Бэка от распростертого на снегу противника, и тогда Франсуа пустил в ход рукоятку бича. Оглушенный ударом Бэк отлетел назад, и долго еще бич гулял по нему, а Шпиц тем временем основательно отделал многогрешного Пайка.

В последующие дни, пока они шли к Доусону, Бэк продолжал вмешиваться всякий раз, когда Шпиц наказывал провинившихся собак. Но делал он это хитро — только тогда, когда Франсуа не было поблизости. Замаскированный бунт Бэка послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Устояли только Дэйв и Соллекс, остальные собаки вели себя все хуже и хуже. Все пошло вкривь и

вкось. Ссорам и грызне не было конца. Атмосфера все сильнее накалялась — и этому виной был Бэк. Из-за него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они со Шпицем схватятся не на жизнь, а на смерть. Погонщик понимал, что рано или поздно это непременно случится. Не раз он по ночам вылезал из спального мешка, заслышав шум драки и боясь, что это дерутся Бэк с вожаком.

Однако пока случая к этому не представлялось, и когда в один хмурый день они наконец прибыли в Доусон, великое сражение все еще было впереди.

В Доусоне было множество людей и еще больше собак, и Бэк видел, что все собаки работают. По-видимому, здесь это было в порядке вещей. Целый день длинные собачьи упряжки проезжали по главной улице, и даже ночью не утихал звон бубенцов. Собаки везли бревна для построек, и дрова, и всякие грузы на прииски. Они выполняли всю ту работу, какую в долине Санта-Клара выполняли лошади. Попадались между ними и южане, но большинство были псы местной породы, потомки волков. С наступлением темноты неизменно в девять, в двенадцать и в три часа ночи они заводили свою ночную песнь, жуткий и таинственный вой. И Бэк с удовольствием при-

соединял к нему свой голос.

В такие ночи, когда над головой ледяным заревом горело северное сияние или звезды от холода плясали в небе, а земля цепенела и мерзла под снежным покровом, эта собачья песнь могла показаться вызовом, брошенным самой жизнью, если бы не ее минорный тон, ее протяжные и тоскливые переливы, похожие на рыдания. Нет, в ней звучала скорее жалоба на жизнь, на тяжкие муки существования. То была старая песнь, древняя, как их порода на земле, одна из первых песен юного мира в те времена, когда все песни были полны тоски. Она была проникнута скорбью бесчисленных поколений, эта жалоба, так странно волновавшая Бэка. Вместе с чужими собаками он стонал и выл от той же муки бытия, от которой выли его дикие предки, от того же суеверного ужаса перед тайной холода и ночи. И то, что отзвуки этой древней тоски волновали Бэка, показывало, как безудержно он сквозь века мирной оседлой жизни у очага человека возвращается назад к тем диким, первобытным временам, когда рождался этот вой.

Через семь дней после прихода в Доусон они вновь спустились по крутому берегу на лед Юкона и двинулись в обратный путь, к Дайе и

Соленой Воде. Перро вез теперь почту еще более срочную, чем та, которую он доставил в Доусон. Притом он уже вошел в азарт и решил поставить годовой рекорд скорости. Целый ряд обстоятельств благоприятствовал этому. Собаки после недельного отдыха восстановили свои силы и были в хорошем состоянии. Тропа, проложенная ими в снегу, была уже хорошо укатана другими путешественниками. И к тому же на этой дороге в двух-трех местах полиция открыла склады провианта для собак и людей, так что они могли выехать в обратный путь налегке.

В первый же день они прошли пятьдесят миль вверх по Юкону, а к концу второго уже приближались к Пелли, но такая замечательная скорость стоила Франсуа немалых хлопот и волнений. Бунт, поднятый Бэком, нарушил слаженность упряжки. Собаки уже не бежали дружно, все как одна. Поощренные заступничеством Бэка за бунтовщиков, они частенько озорничали. Шпица больше не боялись так, как следовало бояться вожака. Прежний страх перед ним исчез, и не только Бэк, но и другие собаки теперь не признавали его первенства. Раз вечером Пайк украл у Шпица половину рыбины и, под защитой Бэка, тут же сожрал ее. В другой раз Даб и Джо

напали на Шпица, предупредив заслуженную ими трепку. И даже добряк Билли утратил долю своего добродушия и повизгивал далеко не так заискивающе, как прежде. А Бэк — тот всякий раз, как проходил мимо Шпица, ворчал и грозно ощетинивался. И вообще он вел себя настоящим забиякой и любил нахально прогуливаться перед самым носом Шпица.

Падение дисциплины сказалось и на отношениях между другими собаками. Они грызлись чаще прежнего, и по временам лагерь превращался в настоящий ад. Только Дэйв и Соллекс вели себя как всегда, хотя и они стали беспокойнее — их порядком раздражала эта беспрерывная грызня вокруг. Франсуа ругался непонятными словами, в бессильном гневе топал ногами и рвал на себе волосы. Бич его постоянно свистел над спинами собак, но толку от этого было мало. Стоило Франсуа отвернуться — и все начиналось снова. Он защищал Шпица, а Бэк — всех остальных. Франсуа отлично знал, что всему виной Бэк, а Бэк понимал, что погонщик это знает. Но пес был так хитер, что уличить его было невозможно. Он хорошо работал в упряжке, потому что это стало для него удовольствием. Но еще большее удовольствие ему доставляло исподтишка вызвать драку

между товарищами и потом замести следы.

Однажды на привале у устья Тэхкины Даб вечером, после ужина, вспугнул зайца, но не успел его схватить. Мигом вся свора кинулась в погоню за добычей. В ста ярдах от лагеря была станция северо-западной полиции, где держали полсотни собак, и они все приняли участие в охоте. Заяц пробежал по льду реки и, свернув на замерзший ручеек, мчался дальше, легко прыгая по глубокому снегу, а собаки, более тяжелые, проваливались на каждом шагу. Бэк бежал впереди всей своры из шестидесяти собак, огибая одну излучину за другой, но догнать зайца не мог. Он распластался на бегу и визжал от вожделения. Его великолепное тело в мертвенно-белом свете луны стремительно мелькало в воздухе. И, как белый призрак морозной ночи, заяц так же стремительно летел впереди.

Те древние инстинкты, что в известную пору года гонят людей из шумных городов в леса и поля убивать живых тварей свинцовыми шариками, теперь проснулись в Бэке, и в нем эти кровожадность и радость умерщвления были бесконечно более естественны. Он мчался впереди всей своры в бешеной погоне за добычей, за этим живым мясом, чтобы впиться в него зубами, убить и в

теплую кровь погрузить морду до самых глаз.

Есть экстаз, знаменующий собою вершину жизни, высшее напряжение жизненных сил. И парадоксально то, что экстаз этот есть полнота ощущения жизни и в то же время — полное забвение себя и всего окружающего. Такой самозабвенный восторг приходит к художнику-творцу в часы вдохновения. Он охватывает воина на поле брани, и воин в упоении боя разит без пощады. В таком именно экстазе Бэк во главе стаи, с древним победным кличем волков, гнался за добычей, мчавшейся впереди в лунном свете. Экстаз этот исходил из неведомых ему самому недр его существа, возвращая его в глубину времен. Жизнь кипела в нем, вставала бурным разливом, и каждый мускул, каждая жилка играли, были в огне, и радость жизни претворялась в движение, в эту исступленную скачку под звездами по мертвой, застывшей от холода земле.

Шпиц, хладнокровный и расчетливый даже в моменты самого буйного азарта, отделился от стаи и побежал наперерез зайцу через узкую косу, вокруг которой речка делала поворот. Бэк этого не заметил: он, огибая излучину, видел только мелькавший впереди белый призрак зайца. Вдруг другой белый призрак, побольше

первого, прыгнул с береговой кручи прямо на дорогу перед зайцем. Это был Шпиц. Заяц не мог повернуть назад. Шпиц еще на лету вонзил зубы ему в спину, и заяц крикнул, как кричит в муке человек. Услышав этот вопль Жизни, которая в разгаре своем попала в железные объятия Смерти, вся свора, бежавшая за Бэком, дико взвыла от восторга.

Молчал только Бэк. Не останавливаясь, он налетел на Шпица, да так стремительно, что не успел схватить его за горло. Они упали и покатились, взметая снег. Шпиц первый вскочил на ноги — так быстро, словно и не падал, — укусил Бэка за плечо и прыгнул в сторону. Челюсти его дважды сомкнулись мертвой хваткой, как железные челюсти капкана, он отскочил, чтобы лучше разбежаться для прыжка, и зарычал, вздернув верхнюю губу и оскалив зубы.

Бэк почувствовал, что настал решительный миг, что эта схватка будет не на жизнь, а на смерть. Когда они, заложив назад уши, с рычанием кружили друг около друга, настороженно выжидая удобного момента для нападения, Бэку вдруг показалось, что все это ему знакомо, что это уже было когда-то: белый лес кругом, белая земля, и лунный свет, и упоение боя. В белом безмолвии

вокруг было что-то призрачное. Ни малейшего движения в воздухе, ни шелеста, не дрожал на дереве ни один засохший лист, и только пар от дыхания собак медленно поднимался в морозном воздухе.

Эти плохо приручённые потомки волков быстро покончили с зайцем и теперь в напряженном, безмолвном ожидании окружили кольцом сражающихся. Глаза у всех горели, пар из раскрытых пастей медленно поднимался вверх. И вся эта картина из каких-то первобытных времен не была для Бэка ни новой, ни странной. Казалось, что так было всегда, что это в порядке вещей.

Шпиц был опытным бойцом. На своем пути от Шпицбергена через всю Арктику и Канаду и Бесплодную Землю он встречал всевозможных собак и всех их одолевал и подчинял себе. Ярость его была страшна, но никогда не ослепляла его. Обуреваемый жаждой терзать и уничтожать, он, однако, ни на миг не забывал, что и противником его владеет такая же страсть. Никогда он не нападал, не подготовившись встретить ответный натиск. Никогда не начинал атаки, не обеспечив себе заранее успеха.

Тщетно Бэк пытался вонзить зубы в шею этого громадного белого пса. Как только он нацели-

вался клыками на незащищенное место, его встречали клыки Шпица. И клык ударялся о клык, морды у обоих были в крови, а Бэку все никак не удавалось обмануть бдительность врага. Он разгорячился и ошеломил Шпица вихрем внезапных натисков. Снова и снова нацеливался он на снежно-белое горло, в котором биение жизни слышалось так близко, но Шпиц всякий раз, укусив его, отскакивал. Тогда Бэк пустил в ход другой маневр: делая вид, что хочет вцепиться Шпицу в горло, он внезапно отдергивал назад голову и, извернувшись, ударял Шпица плечом, как тараном, стараясь повалить его. Но Шпиц успевал укусить его в плечо и легко отскакивал в сторону.

Шпиц был еще совершенно невредим, а Бэк обливался кровью и дышал тяжело. Схватка становилась все ожесточеннее. Окружившие их кольцом собаки в полном молчании ждали той минуты, когда кто-нибудь из двух упадет, и готовились доконать побежденного. Когда Бэк запыхался, Шпиц от обороны перешел к наступлению и не давал ему передышки. Бэк уже шатался. Один раз он даже упал — и все шестьдесят собак в тот же миг вскочили на ноги. Но Бэк одним прыжком взлетел с земли, и весь круг

снова застыл в ожидании.

У Бэка было то, что и человека и зверя делает великим: воображение. В борьбе он слушался инстинкта, но и мозг его не переставал работать. Он бросился на врага, как будто намереваясь повторить прежний маневр — удар плечом, но в последний момент припал к земле и вцепился в левую переднюю ногу Шпица. Захрустела сломанная кость, и белый пес оказался уже только на трех ногах. Трижды пробовал Бэк повалить его наземь, потом, пустив в ход тот же маневр, перегрыз ему правую переднюю ногу.

Несмотря на боль и беспомощное состояние, Шпиц делал бешеные усилия удержаться на ногах. Он видел безмолвный круг собак, их горящие глаза, высунутые языки и серебряный пар от их дыхания, поднимавшийся вверх. Кольцо все теснее сжималось вокруг него, а он не раз видывал прежде, как такое кольцо смыкалось вокруг побежденного в схватке. На этот раз побежденным оказался он.

Участь его была решена. Бэк был беспощаден. Милосердие годилось только для более мягкого климата. Он готовился нанести окончательный удар. Собаки придвинулись уже так близко, что он ощущал на своих боках их теплое дыхание.

За спиной Шпица он видел припавшие к земле, подобравшиеся для прыжка тела, глаза, жадно следившие за каждым его движением. Наступила пауза. Все собаки замерли на месте, словно окаменев. Только Шпиц весь дрожал и шатался, ощетинившись, грозно рыча, будто хотел испугать надвигавшуюся смерть. Но вот Бэк кинулся на него — и тотчас отскочил. На этот раз удар плечом сделал свое дело.

Шпиц упал. Темное кольцо собак сомкнулось в одну точку на озаренном луной снегу, и Шпиц исчез. А Бэк стоял и глядел, как победитель. Это стоял торжествующий первобытный зверь, который убил и наслаждался этим.

Глава 4
Кто победил в борьбе за первенство

— Ну, что я говорил? Разве не правда, что в этом Бэке сидят два дьявола?

Так выражал свои чувства Франсуа на другое утро, обнаружив, что Шпиц исчез, а Бэк весь в ранах. Он подтащил Бэка к костру и при свете огня показал Перро его бока и спину.

— Этот Шпиц дерется, как дикий зверь, — сказал Перро, осматривая зияющие раны и укусы.

— А Бэк — как два зверя! — отпарировал Франсуа. — Ну, да теперь у нас дело пойдет на лад. Не будет Шпица, так и дракам конец.

Пока Перро укладывал и грузил на нарты все их пожитки, погонщик запрягал собак. Бэк подошел к месту вожака, где всегда впрягали Шпица. Франсуа, не обращая на него внимания, подвел к этому столь желанному месту Соллекса; он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бэк в ярости набросился на Соллекса, отогнал его и стал на место Шпица.

— Ну и ну! — воскликнул Франсуа, от восторга хлопнув себя по бедрам. — Посмотрите-ка на

Бэка! Загрыз Шпица и теперь хочет стать вожаком. Пошел вон, разбойник! — прикрикнул он на Бэка, но тот стоял как ни в чем не бывало.

Франсуа схватил его за шиворот и, хотя пес грозно зарычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Соллекса. Тому это явно не понравилось: видно было, что старый пес боится Бэка. Франсуа был упрям и настоял на своем, но, как только он отвернулся, Бэк опять прогнал Соллекса, и тот отошел очень охотно.

Тут уже Франсуа рассердился.

— Вот я тебя сейчас проучу! — крикнул он и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной.

Бэк вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Соллекса, когда того опять поставили впереди. Но он кружил около на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Злобно и обиженно ворча, он все время не сводил глаз с дубинки, чтобы успеть увернуться, если Франсуа швырнет ею в него: он уже по опыту знал, как действует эта штука.

Погонщик занялся своим делом и крикнул Бэка только тогда, когда до него дошла очередь, собираясь поставить его на старое место, перед Дэйвом. Бэк попятился на несколько шагов. Фран-

суа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько раз, и наконец Франсуа бросил дубинку, думая, что Бэк боится ее. Но дело было не в дубинке — Бэк открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву, он его заслужил и не соглашался на меньшее.

Перро поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Бэком, швыряли в него палками, но он увертывался от них. Они проклинали его, и его родителей, и прародителей, и всех еще не явившихся на свет потомков до самых отдаленных поколений, и каждый волосок на его шкуре, и каждую каплю крови в его жилах. А Бэк на ругань отвечал рычанием и не подпускал их близко. Он не пытался убежать, но кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что, если его желание будет исполнено, он станет опять послушен.

Франсуа наконец сел на снег и почесал затылок. Перро посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло, им следовало выехать еще час назад. Франсуа опять почесал затылок, покачал головой и смущенно ухмыльнулся, глядя на курьера. А тот в ответ пожал плечами, как бы признавая, что они побеждены.

Тогда Франсуа подошел к Соллексу и кликнул Бэка. Бэк засмеялся по-своему, по-собачьи, — но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Соллекса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бэка теперь уже не оставалось другого места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его, а Бэк снова засмеялся, но все не шел на зов.

— Брось-ка дубинку! — скомандовал Перро.

Франсуа послушался, и тогда только Бэк подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примерзшие нарты, и они вмиг вылетели на реку, а мужчины на лыжах бежали рядом.

Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Бэке, утверждая, что в нем сидят два черта, но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бэк сразу же вошел в роль вожака и сообразительностью, быстротой и решительностью превосходил даже Шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа.

Но всего замечательнее было его умение подчинять себе других. Он заставил всех собак своей упряжки выполнять его требования. Дэйв и Сол-

лекс ничего не имели против нового вожака. Их дело было трудиться, тащить нарты, не жалея сил, и, пока им не мешали, они на все были согласны. Пусть бы вожаком поставили хоть Билли, лишь бы он поддерживал порядок! Но остальные собаки за последнее время отбились от рук и теперь были очень удивлены строгостью, с какой Бэк призвал их к порядку. Лодырь Пайк, занимавший в упряжке место позади Бэка, раньше налегал на ремни только в такой мере, в какой это было неизбежно, и ни капельки сильнее. Но теперь Бэк подбадривал его частой и энергичной трепкой, и с первого дня Пайк стал работать так усердно, как никогда в жизни. А угрюмый Джо в первый же вечер на стоянке был основательно наказан — это никогда не удавалось даже Шпицу. Бэк навалился на него всей своей тяжестью и трепал до тех пор, пока тот не перестал огрызаться и не заскулил, прося пощады.

Вся упряжка сразу стала работать лучше. Восстановилась былая слаженность движений, и опять все собаки неслись в своих постромках словно слитые в одну. У порогов Ринк Рэпидс Перро прикупил еще двух канадских лаек, Тика и Куну. Бэк выдрессировал их так быстро, что Франсуа только ахал и диву давался.

— Днем с огнем не сыщешь другого такого пса, как этот Бэк! — твердил он. — За такого и тысячу долларов отдать не жалко, ей-богу! Скажешь нет, Перро?

Перро соглашался. Он уже к тому времени превысил рекорд скорости и превышал его все больше день ото дня. Дорога была в прекрасном состоянии, твердая, хорошо укатанная, не было на ней свежего, рыхлого снега, который так затрудняет езду. Притом было не очень холодно. Температура, упав до пятидесяти градусов ниже нуля, оставалась все время на этом уровне. Перро и Франсуа, чередуясь, то ехали на нартах, то шли на лыжах, а собаки неслись галопом, делая остановки только изредка.

Тридцатимильная река оделась уже довольно крепким льдом, и они за один день сделали перегон, который на пути в Доусон отнял у них десять дней. Потом они пролетели без остановок шестьдесят миль от озера Ле-Барж до порогов Белой Лошади. Через озера Марш, Тагиш и Беннет (семьдесят миль) собаки мчались с такой быстротой, что тому из двух мужчин, чья очередь была идти на лыжах, приходилось следовать за нартами, держась за привязанную к ним веревку. И наконец в последний вечер второй недели они

прошли через Белый перевал и стали спускаться к морю, туда, где мерцали огни Скагуэя и стоявших на причале судов.

Это был рекордный пробег. В течение двух недель они проезжали в среднем по сорок миль в день. Целых три дня Перро и Франсуа, гордо выпятив грудь, прогуливались по главной улице Скагуэя, и со всех сторон на них сыпались приглашения выпить, а их упряжка была постоянно окружена восторженной толпой ценителей и скупщиков ездовых собак.

Но вскоре несколько бандитов с Запада сделали попытку обчистить город, а за эти подвиги их так изрешетили пулями, что они стали похожи на перечницы, — и публика занялась новой сенсацией. А там Перро получил официальное распоряжение. Узнав о нем, Франсуа подозвал Бэка, обхватил его обеими руками и заплакал. И это было последнее прощание Бэка с Франсуа и Перро. Как раньше другие люди, они навсегда исчезли из его жизни.

Его и остальных собак передали какому-то шотландцу-полукровке, и вместе с десятком других собачьих упряжек они пустились снова в тот же утомительный путь — к Доусону. Теперь уже они не шли налегке, и не до рекордов им было. Нет,

они трудились без отдыха изо дня в день, тянули нарты с тяжелой кладью. Это был почтовый обоз, он вез вести со всех концов земли людям, искавшим золото под сенью Северного полюса.

Бэку это не нравилось, но он работал хорошо из той же профессиональной гордости, что воодушевляла Дэйва и Соллекса, и следил, чтобы все его товарищи, гордились они своей работой или нет, делали ее добросовестно. Жизнь шла однообразно, как заведенная машина. Один день был как две капли похож на другой. По утрам в определенный час повара принимались за дело. Разводили костры, готовили завтрак. Потом одни грузили на нарты палатки и все остальное, другие запрягали собак. В путь трогались примерно за час до того, как ночь начинала мутнеть, что было предвестником зари. По вечерам делали привал. Люди ставили палатки, кололи дрова и ломали сосновые ветки для подстилки, приносили воду или лед поварам. Затем кормили собак. Для Бэка и его товарищей это было самым радостным событием дня. Впрочем, приятно было и потом, съев свою порцию рыбы, послоняться без дела часок-другой среди других собак, которых здесь было больше сотни. Между ними были опасные драчуны, но после трех сражений Бэка с самыми

свирепыми авторитет его был признан, и стоило ему только ощетиниться и оскалить зубы, как все уступали ему дорогу.

Больше всего, пожалуй, Бэк любил лежать у костра. Поджав под себя задние лапы, вытянув передние и подняв голову, он задумчиво смотрел в огонь. В такие минуты вспоминался ему иногда большой дом судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара, цементный бассейн, где он плавал, бесшерстная мексиканка Изабель и японский мопсик Тутс. Но чаще думал Бэк о человеке в красном свитере, о гибели Кэрли, о великой битве со Шпицем и о тех вкусных вещах, которые он ел когда-то или мечтал поесть. Он не тосковал по родине. Страна солнца стала для него смутным и далеким воспоминанием, которое его не волновало. Гораздо большую власть над ним имели воспоминания о другой жизни, далекой жизни предков. Благодаря им многое, чего он никогда раньше не видел, казалось ему знакомым. А инстинкты (они тоже были не чем иным, как отголосками жизни предков), не просыпавшиеся в нем раньше, теперь ожили и властно заговорили.

По временам, когда он так лежал у костра и сонно щурился на огонь, ему начинало казаться,

что это пламя какого-то иного костра, у которого он грелся когда-то, и видел он подле себя не повара-метиса, а совсем другого человека. У этого другого ноги были короче, а руки длиннее, мускулы — как узловатые веревки, а не такие гладкие и обросшие жиром. Волосы у него были длинные и всклокоченные, череп скошен от самых глаз к темени. Человек этот издавал странные звуки и, видно, очень боялся темноты, потому что то и дело всматривался в нее, сжимая в руке, свисавшей ниже колена, палку с привязанным к ней на конце большим камнем. Он был почти голый — только на спине болталась шкура, рваная и покоробленная огнем. Но тело его было покрыто волосами, и на груди и плечах, на тыльной стороне рук и на ляжках волосы были густые, как мех. Человек стоял не прямо, а наклонив туловище вперед и согнув ноги в коленях. И в теле его чувствовалась какая-то удивительная упругость, почти кошачья гибкость и напряженность, как у тех, кто живет в постоянном страхе перед видимыми и невидимыми опасностями.

Иногда этот волосатый человек сидел у костра на корточках и дремал, низко свесив голову. Локти он тогда упирал в колени, руками закрывал голову, как от дождя. А за костром, в темноте,

светилось множество раскаленных угольков, и всегда парами, всегда по два: Бэк знал, что это глаза хищных зверей. Он слышал, как трещали кусты, сквозь которые они продирались, слышал все звуки, возвещавшие их приближение.

И когда Бэк лежал на берегу Юкона и грезил, лениво глядя в огонь, эти звуки и видения другого мира тревожили его так, что шерсть у него вставала дыбом, и он начинал тихо повизгивать или глухо ворчать. Тогда повар-метис кричал: «Эй, Бэк, проснись!» — и видения куда-то исчезали, перед глазами снова вставал реальный мир, и Бэк поднимался, зевая и потягиваясь, словно он на самом деле только что проснулся.

Дорога была трудная, груз тяжелый, работа изматывала собак. Они отощали и были в самом жалком состоянии, когда добрались наконец до Доусона. Им следовало бы отдохнуть дней десять или хотя бы неделю. Но два дня спустя они уже спускались от Казарм вниз, на лед Юкона, с грузом писем. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершение всего каждый божий день шел снег. По этому мягкому, неутоптанному настилу идти было трудно, больше терлись полозья и тяжелее было собакам тащить нарты. Но люди хорошо справлялись со всеми трудностями

и усердно заботились о собаках.

Каждый вечер, разбив лагерь, погонщики первым делом занимались собаками. Собаки получали ужин раньше, чем люди, и никто из погонщиков не залезал в спальный мешок, пока не осмотрит лапы своих собак. Все-таки силы собак таяли. За эту зиму они уже прошли тысячу восемьсот миль, весь утомительный путь таща за собой тяжело нагруженные нарты. А тысяча восемьсот миль подкосят и самую крепкую, выносливую собаку. Бэк пока не сдавался, заставлял работать других и поддерживал дисциплину в своей упряжке, но и он тоже был сильно переутомлен. Билли все ночи напролет скулил и стонал во сне, Джо был мрачнее мрачного, а к Соллексу просто опасно было подходить не только со стороны слепого, но и со стороны зрячего глаза.

Но больше всех измучился Дэйв. С ним творилось что-то неладное. Он стал раздражителен и угрюм; как только располагались на ночлег, он сразу отрывал себе ямку и забирался в нее — туда погонщик и приносил ему еду. С той минуты, как его распрягали, и до утра, когда опять нужно было впрягаться, Дэйв лежал пластом. Иногда в пути, дернувшись от сильного толчка внезапно остановившихся нарт или напрягаясь, чтобы

сдвинуть их с места, он жалобно стонал.

Погонщик не раз осматривал его, но не мог понять, что с ним. Наконец этим заинтересовались все остальные погонщики. Они обсуждали вопрос и за едой и перед сном, выкуривая последнюю трубку, а однажды вечером устроили настоящий консилиум. Дэйва привели к костру и ощупывали и мяли так усердно, что он несколько раз взвыл от боли. Сломанных костей не обнаружили и так ничего не выяснили. Должно быть, у него что-то болело внутри.

К тому времени, как они добрались до Кассьярской отмели, Дэйв уже так ослабел, что то и дело падал. Шотландец дал сигнал остановиться и выпряг его, а на место коренника поставил ближайшую собаку, Соллекса. Он хотел дать Дэйву роздых, позволить ему бежать на свободе, без упряжки, за нартами. Но Дэйв, как ни был он болен и слаб, не хотел мириться с тем, что его отстранили от работы. Когда снимали с него постромки, он ворчал и рычал, а увидев Соллекса на своем месте, которое он занимал так долго, горестно завыл. Гордость его возмутилась, и смертельно больной Дэйв всячески протестовал против того, что его заменили другим.

Когда нарты тронулись, он побежал сбоку, ны-

ряя в рыхлом снегу, и все время старался цапнуть Соллекса или бросался на него и пробовал повалить в снег по другую сторону тропы; он делал попытки втиснуться в упряжку между Соллексом и нартами и все время скулил, визжал и лаял от боли и досады. Шотландец пробовал отгонять его бичом, но Дэйв не обращал внимания на обжигавшие кожу удары, а у погонщика совести не хватило хлестать его сильнее. Пес не желал спокойно бежать за нартами по наезженной дороге, где бежать было легко, и продолжал упорно нырять в мягком снегу. Скоро он совсем выбился из сил и упал. Лежа там, где свалился, он тоскливым воем провожал длинную вереницу нарт, мчавшихся мимо него.

Потом, собрав остаток сил, Дэйв кое-как тащился вслед, пока обоз не сделал остановки. Тут Дэйв добрел до своего прежнего места и стал сбоку около Соллекса. Его погонщик отошел к другим нартам — прикурить от трубки соседа. Через минуту он вернулся и дал сигнал к отправке. Собаки двинулись как-то удивительно легко, без всякого усилия — и вдруг все с беспокойством повернули головы и остановились. Погонщик тоже удивился: нарты не двигались с места. Он кликнул товарищей взглянуть на это диво. Оказалось, что

Дэйв перегрыз обе постромки Соллекса и уже стоял прямо перед нартами, на своем старом месте.

Он молил взглядом, чтобы его не гнали. Погонщик был озадачен. Товарищи его стали толковать о том, как собакам обидно, когда их изгоняют из упряжки, хотя эта работа их убивает. Вспоминали всякие случаи, когда собаки, которые по старости или болезни уже не могли работать, издыхали от тоски, если их выпрягали. Общее мнение было таково, что раз уж Дэйву все равно издыхать, надо пожалеть его и дать ему умереть со спокойной душой на своем месте у нарт.

Дэйва снова впрягли в нарты, и он гордо потащил их, как прежде, хотя временами невольно стонал от приступов какой-то боли внутри. Несколько раз он падал, и другие собаки волокли его дальше в постромках. А однажды нарты наехали на него, и после этого Дэйв хромал на заднюю ногу.

Все-таки он крепился, пока не дошли до стоянки. Погонщик отвел ему место у костра. К утру Дэйв так ослабел, что идти дальше уже не мог. Когда пришло время запрягать, он с трудом подполз к своему погонщику, судорожным усилием встал на ноги, но пошатнулся и упал. Потом медленно пополз на животе к тому месту, где на его

товарищей надевали постромки. Он вытягивал передние лапы и толчком подвигал свое тело вперед на дюйм-два, потом опять и опять проделывал то же самое. Но силы скоро ему изменили, и, уходя, собаки видели, как Дэйв лежал на снегу, тяжело дыша и с тоской глядя им вслед. А его унылый вой долетал до них, пока они не скрылись за прибрежным лесом.

За лесом обоз остановился. Шотландец медленно зашагал обратно, к только что покинутой стоянке. Люди все примолкли. Скоро издали донесся пистолетный выстрел. Шотландец поспешно возвратился к саням, защелкали бичи, весело залились колокольчики, и нарты помчались дальше. Но Бэк знал, и все собаки знали, что произошло там, за прибрежным лесом.

Глава 5
Труды и тяготы пути

Через тридцать дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бэка прибыл в Скагуэй. Собаки были изнурены и измучены вконец. Бэк весил уже не сто сорок, а сто пятнадцать фунтов. Собаки меньшего веса похудели еще больше, чем он. Симулянт Пайк, всю жизнь ловко надувавший погонщиков, теперь хромал уже не притворно, а по-настоящему. Захромал и Соллекс, а у Даба была вывихнута лопатка, и он сильно страдал.

Лапы у всех были ужасно стерты, утратили всю свою подвижность и упругость и ступали так тяжело, что тело сотрясалось, и собаки уставали вдвойне. Все дело было в этой смертельной усталости. Когда устаешь от короткого чрезмерного усилия, утомление проходит через какие-нибудь два-три часа. Но тут была усталость от постепенного и длительного истощения физической энергии в течение многих месяцев тяжкого труда. У собак уже не осталось никакого запаса сил и никакой способности к их восстановлению:

силы были использованы все до последней крупицы, каждый мускул, каждая жилка, каждая клеточка тела смертельно утомлены. Да и как могло быть иначе? Менее чем за пять месяцев собаки пробежали две с половиной тысячи миль, а на протяжении последних тысячи восьмисот отдыхали всего пять дней. Когда обоз пришел в Скагуэй, видно было, что они просто валятся с ног. Они с трудом натягивали постромки, а на спусках едва могли идти так, чтобы нарты не наезжали на них.

— Ну, ну, понатужьтесь, бедные вы мои хромуши! — подбадривал их погонщик, когда они плелись по главной улице Скагуэя. — Уже почти доехали, скоро отдохнем как следует. Да, да, долго будем отдыхать!

Люди были в полной уверенности, что остановка здесь будет долгая. Ведь и они прошли на лыжах тысячу двести миль, отдыхали за все время пути только два дня и по справедливости и логике вещей заслуживали основательного отдыха. Но в Клондайк понаехало со всего света столько мужчин, а на родине у них осталось столько женщин, возлюбленных, законных жен и родственниц, не поехавших в Клондайк, что тюки с почтой грозили достигнуть высоты

Альпийского хребта. Рассылались и всякие правительственные распоряжения.

И вот собак, ставших негодными, приказано было заменить новыми и снова отправляться в путь. Выбывших из строя собак нужно было сбыть с рук, и, поскольку доллары, как известно, гораздо ценнее собак, последних спешно распродавали.

Только в те три дня, что они отдыхали в Скагуэе, Бэк и его товарищи почувствовали, как они устали и ослабели. На утро четвертого дня пришли двое американцев из Штатов и купили их вместе с упряжью за бесценок. Эти люди называли друг друга Хэл и Чарльз. Чарльз был мужчина средних лет со светлой кожей и бесцветными слезящимися глазами, с усами, лихо закрученными, словно для того, чтобы замаскировать вялость отвислых губ. Хэлу на вид было лет девятнадцать или двадцать. За поясом у него торчали большой кольт и охотничий нож. Этот пояс, набитый патронами, был самой заметной частью его особы. Он свидетельствовал о юности своего хозяина, зеленой, неопытной юности. Оба эти человека были явно не на месте в здешней обстановке, и зачем они рискнули ехать на Дальний Север, оставалось одной из тех загадок, которые выше нашего понимания.

Бэк слышал, как эти двое торговались с правительственным агентом, видел, как они передали ему деньги, и понял, что шотландец и все остальные погонщики почтового обоза уходят из его жизни навсегда, как ушли Перро и Франсуа, как до них ушли другие. Когда его и остальных собак упряжки пригнали в лагерь новых хозяев, Бэк сразу приметил царившие здесь грязь и беспорядок. Палатка была раскинута только наполовину, посуда стояла немытая, все валялось где попало. Увидел он здесь и женщину. Мужчины звали ее Мерседес. Она приходилась женой Чарльзу и сестрой Хэлу, — видимо, это была семейная экспедиция.

Бэк с тяжелым предчувствием наблюдал, как они снимают палатку и нагружают нарты. Они очень усердствовали, но делали все бестолково. Палатку свернули каким-то неуклюжим узлом, который занимал втрое больше места, чем следовало. Оловянную посуду уложили немытой. Мерседес все время суетилась, мешала мужчинам и трещала без умолку, то читая им нотации, то давая советы. Когда мешок с одеждой уложили на передок нарт, она объявила, что ему место не тут, а позади. Мешок переложили, навалили сверху несколько других, но тут Мерседес обна-

ружила вдруг какие-то забытые вещи, которые, по ее мнению, следовало уложить именно в этот мешок, — и пришлось опять разгружать нарты.

Из соседней палатки вышли трое мужчин и наблюдали за ними, ухмыляясь и подмигивая друг другу.

— Поклажи у вас дай боже! — сказал один из них. — Конечно, не мое дело вас учить, но на вашем месте я не стал бы тащить с собой палатку.

— Немыслимо! — воскликнула Мерседес, с кокетливым ужасом всплеснув руками. — Что я буду делать без палатки?

— На дворе весна, холодов больше не будет, — возразил сосед.

Мерседес решительно покачала головой, а Чарльз с Хэлом взвалили на нарты последние узлы поверх горы всякой клади.

— Думаете, свезут? — спросил один из зрителей.

— А почему же нет? — отрывисто возразил Чарльз.

— Ладно, ладно, это я так… — добродушно сказал тот, спеша замять разговор. — Просто мне показалось, что нарты у вас малость перегружены.

Чарльз повернулся к нему спиной и стал затя-

гивать ремни старательно, но очень неумело.

— Конечно, ничего, — подхватил другой сосед. — Собаки могут целый день бежать с этакой штукой позади.

— Безусловно! — отозвался Хэл с ледяной вежливостью и, взяв в одну руку бич, другой ухватился за поворотный шест. — Ну! Пошли! — крикнул он и взмахнул бичом. — Вперед!

Собаки рванулись, напряглись, но тут же остановились. Им не под силу было сдвинуть нарты с места.

— Ленивые скоты! — крикнул Хэл. — Вот я вас! — Он поднял бич и хотел стегнуть собак.

Но вмешалась Мерседес. С криком: «Не смей, Хэл!» — она схватилась за бич и вырвала его из рук брата.

— Бедные собачки! Дай слово, что ты в дороге не будешь их обижать, иначе я шагу отсюда не сделаю!

— Много ты понимаешь! — огрызнулся Хэл. — Не знаешь, как надо обращаться с собаками, так не суйся! Они ленивы, вот и все, только кнута и слушаются. Спроси у кого хочешь. Ну, вот хотя бы у этих людей!

Мерседес с мольбой посмотрела на соседей. На ее красивом лице было написано отвращение —

она не могла видеть, как мучают животных.

— В этих собаках, если уж хотите знать, еле душа держится, — сказал один из мужчин, отвечая на ее взгляд. — Они совсем измотаны, вот в чем дело. Им отдых нужен.

— Какой там отдых к чертовой матери! — проворчал безусый Хэл.

А Мерседес, услышав, как он чертыхается, горестно вздохнула. Однако в ней сильны были родственные чувства, и она поспешно выступила на защиту брата.

— Не обращай внимания, — сказала она ему решительно. — Это наши собаки, и делай с ними, что считаешь нужным.

Снова бич Хэла обрушился на собак. Они налегли на ремни, уперлись лапами в накатанный снег и, почти распластавшись, напрягли все силы. Но нарты удерживали их, словно якорь. После двух попыток собаки остановились, тяжело дыша. Бич бешено свистел в воздухе, и за собак снова вступилась Мерседес. Она стала на колени подле Бэка и со слезами на глазах обняла его за шею.

— Бедные вы, бедные собачки! — воскликнула она жалостливо. — Ну, почему вы не хотите постараться? Ведь тогда вас не будут бить!

Бэку Мерседес не понравилась, но он был слиш-

ком измучен, чтобы дать отпор. Ее ласки он принял, как принимал все неизбежные неприятности этого дня.

Один из зрителей, который наблюдал все это, стиснув зубы и с трудом удерживая гневные слова, не выдержал наконец и заговорил:

— На вас мне, откровенно говоря, наплевать, но собак жалко. И потому я вам скажу, что надо делать, чтобы помочь им. У вас полозья накрепко примерзли. Отбейте лед. Навалитесь всем телом и качайте нарты вправо и влево, пока не сдвинете их с места.

Сделали третью попытку. На этот раз Хэл, вняв дельному совету, сбил лед и оторвал от земли примерзшие полозья. Перегруженные и громоздкие нарты медленно поползли вперед, а Бэк и его товарищи под градом ударов с отчаянными усилиями тянули их. В ста ярдах от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась к главной улице. Удержать тяжело нагруженные нарты на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но никак не Хэл. На повороте нарты опрокинулись, и половина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были слабо затянуты. Собаки и не подумали остановиться. Легкие теперь нарты, лежа на боку, прыгали за ними. А они бежали,

обозленные жестоким обращением и тем, что их заставили везти такой тяжелый груз. Бэк словно взбесился. Он мчался со всех ног, и вся упряжка мчалась за ним. Тщетно Хэл орал: «Стоп! Стоп!» — они его не слушали. Он поскользнулся и упал. Опрокинутые нарты перелетели через него, и собаки понеслись по главной улице Скагуэя, рассыпая, на потеху зрителям, остатки поклажи.

Какие-то сердобольные горожане остановили собак и стали собирать упавшие с нарт пожитки. При этом они не скупились на советы. Хэлу и Чарльзу было сказано, что, если они хотят как-нибудь доехать до Доусона, надо бросить половину клади и удвоить число собак. Хэл, его сестра и зять слушали советы неохотно. Они поставили палатку и принялись сортировать свое имущество. Выбросили банки с консервами, насмешив этим людей, так как на Великой Северной Тропе консервы — самое желанное, о чем только может мечтать путешественник.

— А одеял тут у вас — на целую гостиницу! — заметил один из тех, кто помогал Хэлу и Чарльзу, в душе потешаясь над ними. — Половины и то слишком много. Вам надо их сбыть с рук. Палатку бросьте, да и всю посуду тоже — кто это будет ее мыть в дороге? Господи помилуй, вы что думали?

Что будете разъезжать здесь в пульмановских вагонах?

Так по указанию опытных людей безжалостно выбрасывалось все лишнее. Мерседес даже заплакала, когда содержимое ее вещевого мешка вытряхнули на землю и стали отбрасывать в сторону одну часть туалета за другой. Плакала вообще — и плакала над каждой выброшенной вещью отдельно. Обхватив руками колени, она в неутешном горе качалась взад и вперед. Она твердила, что и шагу не сделает дальше не только ради одного, а хотя бы ради дюжины Чарльзов. Она взывала ко всем и каждому, но в конце концов утерла слезы и принялась выбрасывать даже такие предметы, которые были совершенно необходимы в дороге. Покончив с собственным мешком, она стала разбирать вещи спутников и в своем азарте прошлась по ним как смерч.

После всех трудов на нартах осталась только половина поклажи, но и та была с гору. Вечером Чарльз и Хэл пошли покупать собак и привели их шесть, не местных, а привозных. Теперь в упряжке было уже четырнадцать собак — шесть из первой упряжки Перро, Тик и Куна, купленные им перед рекордным пробегом, да шесть новых. Впрочем, эти новые, привозные собаки, хотя их

уже дрессировали раньше, немногого стоили. Среди них было три гладкошерстных пойнтера и один ньюфаундленд, а две собаки представляли какую-то неопределенную помесь. Новички, видимо, были еще совсем неопытны. Бэк и другие старые собаки смотрели на них презрительно. Бэк сразу показал им, чего нельзя делать, но никак ему не удавалось научить их тому, что нужно было делать. Им не нравилась работа ездовой собаки. Пойнтеры и ньюфаундленд были совершенно сломлены духом, запуганы чуждой им обстановкой дикого Севера и жестоким обращением. А у двух дворняг вообще души не было, им можно было сломать только кости.

Так как беспомощные новички никуда не годились, а старая упряжка выбилась из сил, пройдя почти без передышки две с половиной тысячи миль, то ничего хорошего нельзя было ожидать. Но Хэл и Чарльз были настроены радужно и полны гордости. Как же, теперь у них все на славу — шутка сказать, в упряжке четырнадцать собак! Они видели, как люди отправляются через перевал к Доусону, как возвращаются оттуда — и ни у одного из этих путешественников не было столько собак!

А между тем путешественники по Арктике

имели серьезные основания не впрягать в одни нарты четырнадцать собак: ведь на одних нартах невозможно уместить провизию для такого количества собак. Но Хэл и Чарльз этого не знали. Они все рассчитали карандашом на бумаге: столько-то собак, столько-то корма на собаку, столько-то дней в пути — итого… Карандаш гулял по бумаге, а Мерседес смотрела через плечо мужа и с авторитетным видом кивала головой — все было так просто и ясно.

Назавтра, поздним утром, Бэк повел длинную собачью упряжку по улице Скагуэя. Ни он, ни другие собаки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вышли в путь смертельно усталые. Бэк уже четыре раза проделал путь между Соленой Водой и Доусоном, и его злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пускаться в такой трудный путь. Не по душе это было ему, не по душе и другим собакам. Новые собаки всего боялись, а старые и опытные не питали никакого доверия к своим нынешним хозяевам.

Бэк смутно понимал, что на этих двух мужчин и женщину нельзя положиться. Они ничего не умели, и с каждым днем становилось очевиднее, что они ничему не научатся. Всё они делали спустя рукава, не соблюдали порядка и дисциплины.

Полвечера у них уходило на то, чтобы кое-как разбить лагерь, и пол-утра — на сборы в путь, а нарты они нагружали так беспорядочно и небрежно, что потом весь день то и дело приходилось останавливаться и перекладывать багаж. В иные дни они не проходили и десяти миль, а бывало и так, что вовсе не могли тронуться с места. Никогда они не проходили в день и половины того расстояния, которое путешественники на Севере принимают за среднюю норму, когда рассчитывают, какой запас пищи надо брать для собак.

С самого начала было ясно, что Хэлу и Чарльзу не хватит в пути корма для собак. А они еще к тому же перекармливали их и тем самым приближали катастрофу. Привозные собаки, не приученные хронической голодовкой довольствоваться малым, были ужасно прожорливы. А так как местные, вконец измученные, шли медленно, то Хэл решил, что обычная норма питания недостаточна, и удвоил ее. К тому же Мерседес, со слезами в красивых глазах, дрожащим голосом упрашивала его дать собакам побольше, а когда Хэл не слушался, она крала из мешков рыбу и тайком подкармливала их. Но Бэк и его товарищи нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе. И хотя они бежали не быстро, тяжесть груза, кото-

рый они тащили, сильно подтачивала их силы.

А потом к этому прибавился и голод. В один прекрасный день Хэл сделал открытие, что половина корма для собак уже съедена, тогда как пройдено всего только четверть пути, а достать в этих местах корм ни за какие деньги невозможно. Тогда он урезал дневные порции ниже нормы и решил, что надо ехать быстрее. Сестра и зять с ним согласились. Но ничего из этого не вышло: слишком перегружены были нарты и слишком неопытны люди. Давать собакам меньше еды было проще всего, но заставить их бежать быстрее они не могли, а так как по утрам из-за нерасторопности хозяев в путь трогались поздно, то много времени пропадало даром. Эти люди не умели подтянуть собак, не умели подтянуться и сами.

Первым свалился Даб. Незадачливый воришка, который всегда попадался и получал трепку, был тем не менее добросовестным работником. Так как его вывихнутую лопатку не вправили и не давали ему роздыха, ему становилось все хуже, и в конце концов Хэл пристрелил его из своего большого кольта. На Севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают от голода, если их посадить на скудный паек местных лаек. А так как Хэл и этот паек урезал наполовину,

то все шесть привозных собак в упряжке Бэка неминуемо должны были погибнуть. Первым околел ньюфаундленд, за ним — все три пойнтера. Упорнее их цеплялись за жизнь две дворняги, но и они в конце концов погибли.

К этому времени три путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Развеялось романтическое очарование путешествия по Арктике, действительность оказалась чересчур суровой. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам — теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Ссориться они никогда не уставали. Раздражительность, порожденная невзгодами, росла вместе с этими невзгодами, переросла и далеко опередила их. Эти двое мужчин и женщина не обрели того удивительного терпения, которому Великая Северная Тропа учит людей и которое помогает им в трудах и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бэка не было и капли такого терпения. Они коченели от холода, у них все болело: болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка.

Как только Мерседес оставляла Чарльза и Хэла в покое, они начинали ссориться между собой. Каждый был глубоко уверен, что он делает большую часть работы, и при всяком удобном случае заявлял об этом. А Мерседес принимала сторону то мужа, то брата — и начинались бесконечные семейные сцены. Заведут, например, спор, кому из двоих, Чарльзу или Хэлу, нарубить сучьев для костра, — и тут же начнут ни к селу ни к городу поминать всю родню, отцов, матерей, дядей, двоюродных братьев и сестер, людей, которые находятся за тысячи миль, и даже тех, кто давно в могиле. Было совершенно непонятно, какое отношение к рубке сучьев для костра имеют, например, взгляды Хэла на искусство или пьесы, которые писал его дядя по матери. Тем не менее к спору все это приплеталось так же часто, как и политические убеждения Чарльза. И какая связь между длинным языком сестры Чарльза и разжиганием костра на Юконе — это было ясно одной лишь Мерседес, которая разражалась потоком комментариев на эту тему, а кстати уже высказывалась относительно некоторых других неприятных особенностей мужниной родни. Тем временем костер не разжигался, приготовления к ночлегу не делались, собаки оставались нена-

кормленными.

У Мерседес был особый повод для недовольства — претензии чисто женского свойства. Она была красива, изнеженна, мужчины всегда рыцарски ухаживали за ней. А теперь обращение с ней мужа и брата никак нельзя было назвать рыцарским! Мерседес привыкла ссылаться всегда на свою женскую беспомощность. Чарльза и Хэла это возмущало. Но она протестовала против всяких покушений на то, что считала самой основной привилегией своего пола, и отравляла им жизнь. Она устала, она чувствовала себя больной и потому, не жалея больше собак, все время ехала на нартах. Однако это слабое и прелестное создание весило сто двадцать фунтов — весьма солидное прибавление к тяжелой поклаже, которую приходилось тащить ослабевшим и голодным собакам. Мерседес целыми днями не слезала с нарт — до тех пор, пока собаки не падали без сил и нарты не останавливались. Чарльз и Хэл уговаривали ее слезть и идти на лыжах, просили, умоляли, а она только плакала и докучала богу многословными жалобами на их жестокость к ней.

Раз мужчины ссадили ее с нарт, но они тут же пожалели об этом и закаялись впредь делать что-либо подобное. Мерседес, как капризный

ребенок, стала нарочно хромать и села на дороге. Мужчины пошли дальше, а она не тронулась с места. Пройдя три мили, они вынуждены были вернуться за ней, снять часть груза и силой посадить ее снова на нарты.

Собственные страдания делали этих трех людей равнодушными к страданиям собак. Хэл считал, что закалка — вещь необходимая, но эту свою теорию применял больше к другим. Сперва он пробовал проповедовать ее сестре и зятю, но, потерпев неудачу, стал дубинкой вколачивать ее собакам. К тому времени, как они дошли до Пяти Пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха индианка согласилась дать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэла. Шкура эта, содранная полгода назад с павшей от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, а когда собака с трудом проглатывала кусок, он и после того, как оттаял, был совсем непитателен и только раздражал желудок.

Терпя все это, Бэк, словно в каком-то тяжелом кошмаре, плелся во главе упряжки, тянул нарты,

насколько хватало сил, а когда силы изменяли, падал и лежал, пока его не поднимали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна, и во многих местах, где дубинка Хэла разрезала кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Это могло надорвать любое сердце, но сердце у Бэка было железное, как давно доказал человек в красном свитере.

Не в лучшем состоянии, чем Бэк, были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их осталось теперь семь, включая и Бэка. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Боль от побоев ощущалась ими как-то тупо, и они все видели и слышали словно издалека. Это были уже полумертвые существа, попросту мешки с костями, в которых жизнь едва теплилась. На остановках они раньше, чем их распрягут, падали без сил тут же, у дороги; и казалось, что последняя искорка жизни в них угасла. Когда же на них обрушивались удары дубинки или бича, эта искра чуть-чуть разгоралась, и они, с трудом подняв-

шись, брели дальше.

Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. Револьвера у Хэла больше не было, и он прикончил Билли ударом топора по голове, затем снял с трупа упряжь и оттащил его в сторону от дороги. Бэк все это видел, и другие собаки видели, и все они понимали, что то же самое очень скоро будет с ними. На другой день околела Куна, и осталось их теперь только пятеро: Джо, такой замученный, что не мог уже даже огрызаться, Пайк, хромающий калека, который утратил всю свою хитрость и плутоватость, одноглазый Соллекс, все еще преданный делу и затосковавший оттого, что у него уже не хватало сил тащить нарты, Тик, который никогда еще не ходил так далеко, как этой зимой, и которого били чаще и сильнее, потому что он был самый неопытный из всех, и Бэк, все еще занимавший место вожака, но уже неспособный поддерживать дисциплину и даже не пытавшийся это делать. От слабости он брел, как слепой, и, различая все словно сквозь туман, не сбивался с тропы только потому, что ноги привычно нащупывали дорогу.

Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали ее. Что ни день, солнце вставало раньше и позже уходило на покой. В три часа

уже светало, а сумерки наступали только в девять часов вечера. И весь долгий день ослепительно сияло солнце. Призрачное безмолвие зимы сменилось весенним шумом пробуждавшейся жизни. Заговорила вся земля, полная радости возрождения; все, что в долгие месяцы морозов было недвижимо, как мертвое, теперь ожило и пришло в движение. В соснах поднимался сок. На ивах и осинах распускались почки. Кусты одевались свежей зеленью. По ночам уже трещали сверчки, а днем копошилось, греясь на солнышке, все, что ползает и бегает по земле. В лесах перекликались куропатки, стучали дятлы, болтали белки, заливались певчие птицы, а высоко в небе кричали летевшие косяками с юга дикие гуси, рассекая крыльями воздух.

С каждого холмика бежала вода, звенела в воздухе музыка невидимых родников. Все кругом оттаивало, шумело, качалось под весенним ветром, спешило жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бурного биения и трепета про-

сыпающейся жизни, под слепящим солнцем и лаской вздыхающего ветра, брели, словно навстречу смерти, двое мужчин, женщина и собаки.

Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт, Хэл ругался в бессильной ярости, в слезящихся глазах Чарльза застыла печаль.

Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Как только остановили нарты, собаки свалились, как мертвые. Мерседес, утирая слезы, смотрела на Джона Торнтона. Чарльз присел на бревно отдохнуть. Садился он с трудом, очень медленно — тело у него словно одеревенело.

Разговор начал Хэл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет — только тогда, когда его спрашивали: он знал эту породу людей и не сомневался, что советы его не будут выполнены.

— Там, наверху, нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше, — сказал Хэл в ответ на предостережение Торнтона,

что идти сейчас по льду рискованно. — Уверяли, что нам уже не добраться до Белой реки, — а вот добрались же!

Последние слова сказаны были с иронией и победоносной усмешкой.

— И правильно вам советовали, — заметил Джон Торнтон. — Лед может тронуться с минуты на минуту. Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку — дуракам, известно, везет. А я вам прямо говорю: я не стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски.

— Ну еще бы, ведь вы не дурак, — бросил Хэл. — А мы все-таки пойдем дальше, к Доусону. — Он взмахнул бичом. — Вставай, Бэк! Ну! Вставай, тебе говорят! Марш вперед!

Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал: бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродств. И в конце концов в мире ничего не изменится, если станет двумя-тремя дураками меньше.

Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. Бич засвистал тут и там, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом под-

нялся Соллекс. За ним Тик, а за Тиком, визжа от боли, Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой, и только в третий ему наконец удалось встать. А Бэк даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хэл продолжал хлестать Бэка. Торнтон встал, в нерешимости заходил взад и вперед.

В первый раз Бэк отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хэла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку. Но и град новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бэка на ноги. Он, как и другие собаки, мог бы еще через силу встать, но в отличие от них сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигающейся гибели. Это чувство обреченности родилось еще тогда, когда он тащил нарты на берег, и с тех пор не оставляло Бэка. Целый день он ощущал под ногами тонкий и уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так исстрадался и до того дошел, что почти не чувствовал боли от

ударов. А они продолжали сыпаться, и последняя искра жизни уже угасала в нем. Бэк умирал. Он чувствовал какое-то странное оцепенение во всем теле. Ощущение боли исчезло, он только смутно сознавал, что его бьют, и словно издалека слышал удары дубины по телу. Но, казалось, это тело не его и все это происходит где-то вдалеке.

И тут совершенно неожиданно Джон Торнтон с каким-то нечленораздельным криком, похожим больше на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хэл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело.

Джон Торнтон стоял над Бэком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить.

— Если ты еще раз ударишь эту собаку, я убью тебя! — сказал он наконец, задыхаясь.

— Собака моя, — возразил Хэл, вставая и вытирая кровь с губ. — Убирайся, иначе я уложу тебя на месте. Мы идем в Доусон!

Но Торнтон стоял между ним и Бэком и вовсе не обнаруживал намерения «убраться». Хэл вы-

хватил из-за пояса свой длинный охотничий нож. Мерседес вопила, плакала, хохотала, словом, была в настоящей истерике. Торнтон ударил Хэла топорищем по пальцам и вышиб у него нож. Хэл попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Бэке постромки.

Вся воинственность Хэла испарилась. К тому же ему пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на руки, вернее на плечи, и он рассудил, что Бэк им ни к чему — все равно издыхает и тащить сани не сможет.

Через несколько минут нарты уже спускались с берега на речной лед. Бэк услышал шум отъезжающих нарт и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел Пайк, коренником был Соллекс, а между ними впряжены Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. На нартах поверх клади восседала Мерседес, а Хэл шел впереди, у поворотного шеста. Позади плелся Чарльз.

Бэк смотрел им вслед, а Торнтон, опустившись подле него на колени, своими жесткими руками бережно ощупывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость. Он убедился, что пес только сильно избит и страшно истощен голодовкой. Тем временем нарты уже отъехали на четверть

мили. Человек и собака наблюдали, как они ползли по льду. Вдруг на их глазах задок нарт опустился, словно нырнув в яму, а шест взвился в воздух вместе с ухватившимся за него Хэлом. Донесся вопль Мерседес. Затем Бэк и Торнтон увидели, как Чарльз повернулся и хотел бежать к берегу, но тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой — и люди и собаки. На этом месте зияла огромная полынья. Ледяная дорога рушилась.

Джон Торнтон и Бэк посмотрели друг другу в глаза.

— Ах ты, бедняга! — сказал Джон Торнтон. И Бэк лизнул ему руку.

Глава 6
Из любви к человеку

Когда в декабре Джон Торнтон отморозил ноги, товарищи устроили его поудобнее на стоянке и оставили тут, пока не поправится, а сами ушли вверх по реке заготовлять бревна, которые они сплавляли в Доусон. Торнтон еще немного хромал в то время, когда спас Бэка, но с наступлением теплой погоды и эта легкая хромота прошла. А Бэк все долгие весенние дни лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему.

Сладок отдых тому, кто пробежал три тысячи миль. И, по правде говоря, в то время как заживали раны, крепли мускулы, а кости снова обрастали мясом, Бэк все больше и больше разленивался. Впрочем, тут все бездельничали — не только Бэк, но и сам Торнтон, и Скит, и Ниг — в ожидании, когда придет плот, на котором они отправятся в Доусон. Скит, маленькая сука из породы ирландских сеттеров, быстро подружилась с Бэком — еле живой, он не способен был

отвергнуть ее ласки и заботы. Скит, как и некоторые другие собаки, обладала инстинктивным уменьем врачевать раны и болезни. Как кошка вылизывает своих котят, так она вылизывала и зализывала раны Бэка. Каждое утро, выждав, пока Бэк поест, она выполняла свои добровольные обязанности, и в конце концов он стал принимать ее заботы так же охотно, как заботы Торнтона. Ниг, помесь ищейки с шотландской борзой, тоже настроенный дружелюбно, но более сдержанный, был громадный черный пес с веселыми глазами и неисчерпаемым запасом добродушия.

К удивлению Бэка, эти собаки ничуть не ревновали к нему хозяина и не завидовали ему. Казалось, им передались доброта и великодушие Джона Торнтона. Когда Бэк окреп, они стали втягивать его в веселую возню, в которой иной раз, не удержавшись, принимал участие и Торнтон.

Так Бэк незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые он узнал любовь, любовь истинную и страстную. Никогда он не любил так никого в доме судьи Миллера, в солнечной долине Санта-Клара. К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на далекие прогулки, он относился по-товарищески, к маленьким внучатам — свысока и покровительственно, а к

самому судье — дружески, никогда не роняя при этом своего величавого достоинства. Но только Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, любовь-обожание, страстную до безумия.

Торнтон спас ему жизнь — и это уже само по себе что-нибудь да значило. А кроме того, этот человек был идеальным хозяином. Другие люди заботились о своих собаках лишь по обязанности и потому, что им это было выгодно. А Торнтон заботился о них без всякого расчета, как отец о детях, — такая уж у него была натура. Мало того, он никогда не забывал порадовать собаку приветливым и ободряющим словом, любил подолгу разговаривать с ними (он называл это «поболтать»), и беседы эти доставляли ему не меньшее удовольствие, чем им. У Торнтона была привычка хватать Бэка обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачивать пса из стороны в сторону, осыпая его при этом всякими бранными прозвищами, которые Бэк принимал как ласкательные. Для Бэка не было большей радости, чем эта грубоватая ласка, сопровождаемая ругательствами, и когда хозяин так тормошил его, сердце у него от восторга готово было выскочить. Как только Торнтон наконец отпускал его,

он вскакивал, раскрыв пасть в улыбке, и взгляд его был красноречивее слов, горло сжималось от чувств, которых он не мог выразить. А Джон Торнтон, глядя на него, застывшего на месте, говорил с уважением: «О господи! Этот пес — что человек, только говорить не умеет!..»

Бэк выражал свою любовь способами, от которых могло не поздоровиться. Он, например, хватал зубами руку Торнтона и так крепко сжимал челюсти, что на коже долго сохранялся отпечаток его зубов. Но хозяин понимал, что эта притворная свирепость — только ласка, точно так же, как Бэк понимал, что ругательными прозвищами его наделяют от избытка нежности.

Чаще всего любовь Бэка проявлялась в виде немого обожания. Хотя он замирал от счастья, когда Торнтон трогал его или разговаривал с ним, он сам не добивался этих знаков расположения. В противоположность Скит, которая, подсовывая морду под руку Торнтона, тыкалась в нее носом, пока он не погладит ее, или Нигу, имевшему привычку лезть к хозяину и класть свою большую голову к нему на колени, Бэк довольствовался тем, что обожал его издали. Он мог часами лежать у ног Торнтона, с напряженным вниманием глядя ему в лицо и словно изучая его. Он с живейшим

интересом следил за каждой переменой в этом лице, за каждым мимолетным его выражением. А иногда ложился подальше, сбоку или позади хозяина, и оттуда наблюдал за его движениями. Такая тесная близость создалась между человеком и собакой, что часто, почувствовав взгляд Бэка, Торнтон поворачивал голову и молча глядел на него. И каждый читал в глазах другого те чувства, что светились в них.

Еще долгое время после своего спасения Бэк беспокоился, когда не видел вблизи Торнтона. С той минуты, как Торнтон выходил из палатки и пока он не возвращался в нее, пес ходил за ним по пятам. У Бэка здесь, на Севере, уже несколько раз менялись хозяева, и он, решив, что постоянных хозяев не бывает, боялся, как бы Торнтон не ушел из его жизни, как ушли Перро и Франсуа, а потом шотландец. Даже во сне этот страх преследовал его, и часто, просыпаясь, Бэк вылезал, несмотря на ночной холод, из своего убежища, пробирался к палатке и долго стоял у входа, прислушиваясь к дыханию хозяина.

Однако, несмотря на великую любовь к Джону Торнтону, которая, казалось, должна была оказать на Бэка смягчающее и цивилизующее влияние, в нем не заглохли склонности диких

предков, разбуженные Севером. Верность и преданность — черты, рождающиеся под сенью мирных очагов, были ему свойственны, но наряду с этим таились в нем жестокость и коварство дикаря. Это больше не была собака с благодатного Юга, потомок многих прирученных поколений — нет, это был первобытный зверь, пришедший из дикого леса к костру Джона Торнтона. Великая любовь к этому человеку не позволяла Бэку красть у него пищу, но у всякого другого, во всяком другом лагере он крал бы без зазрения совести, тем более что благодаря своей звериной хитрости мог проделывать это безнаказанно.

Морда его и тело хранили во множестве следы собачьих зубов, и в драках с другими собаками он проявлял и теперь такую же свирепость и еще большую изобретательность, чем раньше. Скит и Ниг были смирные и добрые собаки, с ними он не грызся, — кроме того, это ведь были собаки Джона Торнтона. Но если подвертывался чужой пес, все равно какой породы и силы, то он должен был немедленно признать превосходство Бэка, иначе ему предстояла схватка не на жизнь, а на смерть с опасным противником. Бэк был беспощаден. Он хорошо усвоил закон дубины и клыка и никогда не давал никому потачки, никогда не отступал

перед врагом, стремясь во что бы то ни стало уничтожить его. Этому он научился от Шпица, от драчливых полицейских и почтовых собак. Он знал, что середины нет — либо он одолеет, либо его одолеют, и щадить врага — это признак слабости. Милосердия первобытные существа не знали. Они его принимали за трусость. Милосердие влекло за собой смерть. Убивай или будешь убит, ешь или тебя съедят — таков первобытный закон жизни. И этому закону, дошедшему до него из глубины времен, повиновался Бэк.

Он был старше того времени, в котором жил, той жизни, что шла вокруг. В нем прошлое смыкалось с настоящим, и, как мощный ритм вечности, голоса прошлого и настоящего звучали в нем попеременно, — это было как прилив и отлив, как смена времен года. У костра Джона Торнтона сидел широкогрудый пес с длинной шерстью и белыми клыками. Но за ним незримо теснились тени всяких других собак, полуприрученных и диких. Они настойчиво напоминали о себе, передавали ему свои мысли, смаковали мясо, которое он ел, жаждали воды, которую он пил, слушали то, что слушал он, и объясняли ему звуки дикой лесной жизни. Они внушали ему свои настроения и порывы, подсказывали поступки, лежали

рядом, когда он спал, видели те же сны и сами являлись ему во сне.

И так повелителен был зов этих теней, что с каждым днем люди и их требования все больше отходили в сознании Бэка на задний план. Из глубины дремучего леса звучал призыв, таинственный и манящий, и, когда Бэк слышал его, он испытывал властную потребность бежать от огня и утоптанной земли туда, в чащу, все дальше и дальше, неведомо куда, неведомо зачем.

Да он и не раздумывал, куда и зачем: зову этому невозможно было противиться. Но когда Бэк оказывался в зеленой сени леса, на мягкой, нехоженой земле, любовь к Джону Торнтону всякий раз брала верх и влекла его назад, к костру хозяина.

Только Джон Торнтон и удерживал его. Все другие люди для Бэка не существовали. Встречавшиеся в дороге путешественники иногда ласкали и хвалили его, но он оставался равнодушен к их ласкам, а если кто-нибудь слишком надоедал ему, он вставал и уходил. Когда вернулись компаньоны Торнтона, Ганс и Пит, на долгожданном плоту, Бэк сперва не обращал на них ровно никакого внимания, а позднее, сообразив, что они близки Торнтону, терпел их присутствие и снисходитель-

но, словно из милости, принимал их любезности. Ганс и Пит были люди такого же склада, как Джон Торнтон, — люди с широкой душой, простыми мыслями и зоркими глазами, близкие к природе. И еще раньше, чем они доплыли до Доусона и ввели свой плот в бурные воды у лесопилки, они успели изучить Бэка и все его повадки и не добивались от него той привязанности, какую питали к ним Ниг и Скит.

Но к Джону Торнтону Бэк привязывался все сильнее и сильнее. Торнтон был единственный человек, которому этот пес позволял во время летних переходов навьючивать ему на спину кое-какую поклажу. По приказанию Торнтона Бэк был готов на все. Однажды (это было в ту пору, когда они, сделав запасы провизии на деньги, вырученные за сплавленный лес, уже двинулись из Доусона к верховьям Тананы) люди и собаки расположились на утесе, который отвесной стеной высился над голой каменной площадкой, лежавшей на триста футов ниже. Джон Торнтон сидел у самого края, а Бэк — с ним рядом, плечо к плечу. Вдруг Торнтону пришла в голову шальная мысль, и он сказал Гансу и Питу, что сейчас проделает один опыт.

— Прыгай, Бэк! — скомандовал он, указывая

рукой вниз, в пропасть.

В следующее мгновение он уже боролся с Бэком, изо всех сил удерживая его на краю обрыва, а Ганс и Пит оттаскивали их обоих назад, в безопасное место.

— Это что-то сверхъестественное! — сказал Пит, когда все успокоились и отдышались.

Торнтон покачал головой:

— Нет, это замечательно, но и страшно, скажу я вам! Верите ли, меня по временам пугает преданность этого пса.

— Да-а, не хотел бы я быть на месте человека, который попробует тебя тронуть при нем! — сказал в заключение Пит, кивком головы указывая на Бэка.

— И я тоже, клянусь богом! — добавил Ганс.

Еще в том же году в Сёркле произошел случай, показавший, что Пит был прав. Раз Черный Бартон, человек злого и буйного нрава, затеял ссору в баре с каким-то новичком, незнакомым еще с местными нравами, а Торнтон, по доброте душевной, вмешался, желая их разнять. Бэк, как всегда, лежал в углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Бартон неожиданно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон отлетел в сторону и устоял на ногах

только потому, что схватился за перила, отгораживавшие прилавок.

Зрители этой сцены услышали не лай, не рычание — нет, это был дикий рев. В одно мгновение Бэк взвился в воздух и нацелился на горло Бартона. Тот инстинктивно вытянул вперед руку и этим спас себе жизнь. Но Бэк опрокинул его и подмял под себя. В следующий момент он оторвал зубы от руки Бартона и снова сделал попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон заслонился не так удачно, и Бэк успел прокусить ему шею. Тут все, кто был в баре, кинулись на помощь и пса отогнали. Однако все время, пока врач возился с Бартоном, стараясь остановить кровь, Бэк расхаживал вокруг, свирепо рыча, и пытался опять подобраться к Бартону, но отступал перед целым частоколом вражеских палок.

На состоявшемся тут же на месте собрании золотоискателей решено было, что пес имел достаточно оснований рассердиться, и Бэк был оправдан. С тех пор он завоевал себе громкую известность, и имя его повторялось во всех поселках Аляски.

Позднее, осенью того же года, Бэк, уже при совершенно иных обстоятельствах, спас жизнь Торнтону. Трем товарищам нужно было провести

длинную и узкую лодку через опасные пороги у Сороковой Мили. Ганс и Пит шли по берегу, тормозя движение лодки при помощи пеньковой веревки, которую они зацепляли за деревья, а Торнтон сидел в лодке, действуя багром и выкрикивая распоряжения тем, кто был на берегу. Бэк тоже бежал берегом вровень с лодкой. Он не сводил глаз с хозяина и проявлял сильное волнение.

В одном особенно опасном месте, где из воды торчала целая гряда прибрежных скал, которые выдавались далеко в реку, Ганс отпустил канат, и, пока Торнтон багром направлял лодку на середину реки, он побежал берегом вперед, держа в руках конец веревки, чтобы подтягивать лодку, когда она обогнет скалы. Лодка, выбравшись, стремительно понеслась вниз по течению. Ганс, натянув веревку, затормозил ее, но сделал это слишком круто. Лодка от толчка перевернулась и двинулась к берегу дном кверху, а Торнтона увлекло течением к самому опасному месту порогов, где всякому пловцу грозила смерть.

В тот же миг Бэк прыгнул в воду. Проплыв ярдов триста в бешено бурлившей воде, он догнал Торнтона и, как только почувствовал, что Торнтон ухватился за его хвост, поплыл к берегу, изо всех

сил загребая мощными лапами. Но он подвигался медленно: плыть в этом направлении мешало необычайно быстрое течение. Ниже зловеще ревела вода — там бурный поток разлетался струями и брызгами, ударяясь о скалы, торчавшие из воды, как зубья огромного гребня. У начала последнего, очень крутого порога вода засасывала со страшной силой, и Торнтон понял, что ему не доплыть до берега. Он налетел на одну скалу, ударился о другую, потом его с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Выпустив хвост Бэка, он уцепился за ее скользкую верхушку обеими руками и, стараясь перекричать рев воды, скомандовал:

— Марш, Бэк! Вперед!

Течение несло Бэка вниз, он тщетно боролся с ним и не мог повернуть обратно. Услышав дважды повторенный приказ хозяина, он приподнялся из воды и высоко задрал голову, словно хотел в последний раз на него поглядеть, затем послушно поплыл к берегу. Пит и Ганс вытащили его из воды как раз в тот момент, когда он уже совсем обессилел и начал захлебываться.

Ганс и Пит понимали, что висеть на скользкой скале, которую перехлестывает стремительный поток, Торнтон сможет только каких-нибудь

три-четыре минуты. И они со всех ног пустились бежать берегом к месту, значительно выше того, где висел посреди реки на скале Торнтон. Добежав, они обвязали Бэка веревкой так, чтобы она не стесняла его движений и не душила его, затем столкнули его в воду. Бэк поплыл смело, но не прямо посредине реки. Он увидел свой промах слишком поздно: когда он поравнялся с Торнтоном и мог бы уже несколькими взмахами лап одолеть расстояние до скалы, течение пронесло его мимо.

Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бэк был не собака, а лодка. От внезапного толчка Бэк ушел под воду и так под водой и оставался, пока его тянули к берегу. Когда его подняли наверх, он был еле жив, и Ганс с Питом стали поспешно откачивать его и делать ему искусственное дыхание. Бэк встал и снова упал. Но вдруг слабо донесся голос Торнтона, и хотя слов они не расслышали, но поняли, что помощь нужна немедленно, иначе он погибнет. Голос хозяина подействовал на Бэка, как электрический ток. Он вскочил и помчался по берегу, а за ним Ганс и Пит. Они бежали к тому месту, где Бэка в первый раз спустили в воду.

Опять обвязали его веревкой, и он поплыл, но теперь уж прямо на середину реки. Бэк мог

оплошать один раз, но не два. Ганс постепенно разматывал и спускал веревку, следя, чтобы она была все время натянута, а Пит расправлял ее. Бэк плыл, пока не оказался на одной линии с Торнтоном. Тут он повернул и со скоростью курьерского поезда ринулся к нему. Торнтон увидел его, и, когда Бэк, подхваченный сильным течением, со всего размаху ударился о него телом, как таран, Торнтон обеими руками обхватил его косматую шею. Ганс натянул веревку, обернув ее вокруг ствола дерева, и Бэк с Торнтоном ушли под воду. Задыхаясь, захлебываясь, волочась по каменистому дну и ударяясь о подводные камни и коряги, по временам всплывая, причем то Бэк оказывался под Торнтоном, то Торнтон под Бэком, они в конце концов добрались до берега.

Торнтон, очнувшись, увидел, что лежит вниз лицом поперек бревна, выброшенного рекой, а Ганс и Пит усердно откачивают его, двигая взад и вперед. Он прежде всего отыскал глазами Бэка. Бэк лежал как мертвый, и над его безжизненным телом выл Ниг, а Скит лизала его мокрую морду и закрытые глаза. Сам весь израненный и разбитый, Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно ощупывать тело Бэка и нашел, что у него сломаны три ребра.

— Ну, значит решено, — объявил он. — Мы остаемся здесь.

И они остались и прожили там до тех пор, пока у Бэка не срослись ребра настолько, что он мог идти дальше.

А зимой в Доусоне Бэк совершил новый подвиг, быть может, не столь героический, но принесший ему еще большую славу. Подвиг этот пришелся весьма кстати, ибо он доставил его трем хозяевам то снаряжение, в котором они нуждались, чтобы предпринять давно желанное путешествие на девственный восток, куда еще не добрались никакие золотоискатели.

Началось с разговора в баре «Эльдорадо»: мужчины стали хвастать любимыми собаками. Бэк благодаря своей известности был мишенью нападок, и Торнтону пришлось стойко защищать его. Не прошло и получаса, как один из собеседников объявил, что его собака может сдвинуть с места нарты с грузом в пятьсот фунтов и даже везти их. Другой похвастал, что его пес свезет и шестьсот фунтов; третий — что семьсот.

— Это что! — сказал Джон Торнтон. — Мой Бэк сдвинет с места и тысячу.

— И пройдет с такой кладью хотя бы сто ярдов? — спросил Мэттьюсон, один из королей

золотых приисков, тот самый, что уверял, будто его собака свезет семьсот фунтов.

— Да, сдвинет нарты и пройдет сто ярдов, — спокойно подтвердил Джон Торнтон.

— Ладно, — сказал Мэттьюсон с расстановкой, внятно, так, чтобы все его услышали. — Держу пари на тысячу долларов, что ему этого не сделать. Вот деньги. — И он бросил на прилавок мешочек с золотым песком, толщиной в болонскую колбасу.

Никто не откликнулся на этот вызов. Заявление Торнтона все приняли за пустое хвастовство. Торнтон почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо: он и сам не знал, как это у него сорвалось с языка. Сможет ли Бэк двинуть нарты с кладью в тысячу фунтов? Ведь полтонны! Чудовищность этой цифры вдруг ужаснула Торнтона. Он очень верил в силу Бэка и часто думал, что тот мог бы свезти любой груз. Но ни разу не приходило ему в голову проверить это, а тут глаза целого десятка людей устремлены на него, все молчат и ждут! К тому же ни у него, ни у Ганса и Пита не было тысячи долларов.

— У меня тут, на улице, стоят нарты с мукой, двадцать мешков, по пятьдесят фунтов в каждом, — продолжал Мэттьюсон с бесцеремонной

настойчивостью. — Так что ни за чем остановки не будет.

Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать. Он смотрел то на одного, то на другого рассеянно, как человек, который не может собрать мыслей. Взгляд его вдруг остановился на лице Джима О'Брайена, местного богача, с которым они когда-то были товарищами. Это словно послужило толчком и подсказало Торнтону решение, которое раньше ему и в голову не приходило.

— Можешь одолжить мне тысячу? — спросил он почти шепотом.

— Конечно, — ответил О'Брайен; и на прилавок рядом с мешочком Мэттьюсона тяжело шлепнулся второй увесистый мешочек с золотым песком. — Хотя не верится мне, Джон, что твой пес сможет проделать такую штуку.

Все, кто был в «Эльдорадо», высыпали на улицу, чтобы не пропустить интересное зрелище. За карточными столами не осталось никого, все игроки вышли тоже, чтобы посмотреть, кто выиграет пари, да и самим побиться об заклад. Несколько сот человек в меховой одежде полукругом обступили нарты на небольшом расстоянии. Нарты Мэттьюсона с грузом в тысячу фунтов муки стояли здесь уже часа два на сильном морозе (термометр

показывал шестьдесят градусов ниже нуля), и полозья крепко примерзли к плотно укатанному снегу. Любители пари предлагали неравные заклады — два против одного, утверждая, что Бэк нарт не сдвинет. Возник казуистический спор: как понимать фразу «двинуть нарты»? О'Брайен полагал, что Торнтон имеет право сбить лед с полозьев и освободить их, а Бэк должен только после этого сдвинуть их с места. Мэттьюсон же настаивал, что по условию пари Бэк должен сам двинуть нарты так, чтобы примерзшие полозья оторвались от земли. Большинство свидетелей пари решили спор в пользу Мэттьюсона, и ставки против Бэка повысились до трех против одного.

Однако желающих принять пари не нашлось: никто не верил, что Бэк может совершить такой подвиг. Было ясно, что Торнтон дал себя втянуть в весьма рискованное пари. Он и сам, глядя сейчас на эти нарты и их упряжку из десяти собак, свернувшихся на снегу, все более сомневался в возможности такого подвига. А Мэттьюсон ликовал.

— Три против одного! — закричал он. — Ставлю еще тысячу, Торнтон! По рукам, что ли?

На лице Торнтона ясно выражались мучившие его опасения, но в нем уже заговорил тот боевой

задор, который выше всяких расчетов и глух ко всему, кроме шума битвы, — задор, для которого нет невозможного. Он подозвал Ганса и Пита. У них кошельки были совсем тощие, и все трое с трудом наскребли двести долларов. В последнее время им не везло, эти двести долларов составляли весь их капитал. Но они без малейшего колебания поставили эти деньги против шестисот долларов Мэттьюсона.

Десять собак Мэттьюсона выпрягли и к нартам поставили Бэка в его собственной упряжи. Царившее вокруг возбуждение передалось и ему, он чутьем угадывал, что нужно сделать для Джона Торнтона что-то очень важное. Шепот восхищения послышался в толпе, когда люди увидели это великолепное животное. Бэк был в прекрасном состоянии — ни единой унции лишнего жира, и те сто пятьдесят фунтов, которые он весил, представляли собой сто пятьдесят фунтов мужественной силы. Его густая шерсть лоснилась, как шелк. На шее и плечах она напоминала гриву и, даже когда он был спокоен, топорщилась при малейшем его движении, словно от избытка жизненных сил. Казалось, каждый ее волосок заряжен энергией. Широкая грудь и мощные передние ноги были пропорциональны разме-

рам всего тела, а мускулы выступали под кожей тугими клубками. Люди подходили и, щупая эти мускулы, объявляли, что они железные. Ставки против Бэка снизились до двух против одного.

— Молодчина он у вас, сэр, молодчина! — пробормотал один из новой династии королей Скукум-Бенча. — Даю вам за него восемьсот — до испытания, сэр, заметьте! Восемьсот на руки — и беру его такого, как он есть.

Торнтон отрицательно потряс головой и подошел к Бэку.

— Нет, отойдите от него! — запротестовал Мэттьюсон. — Дайте ему свободу, тогда это будет честная игра.

Толпа притихла, слышались только отдельные голоса, тщетно предлагавшие пари два против одного. Все признавали, что Бэк — великолепная ездовая собака, но двадцать мешков муки, по пятьдесят фунтов каждый, слишком убедительно громоздились перед глазами, и зрители не решались развязать кошельки.

Торнтон опустился на колени около Бэка, обнял его голову обеими руками и прижался к нему щекой. Сегодня он не стал его шутливо трясти, тормошить, как делал обычно, не бормотал любовно всякие ругательные прозвища. Нет, он

только шепнул ему что-то на ухо.

— Если любишь меня, Бэк… Если любишь… — вот что он шепнул ему. И Бэк заскулил от едва сдерживаемого нетерпения.

Окружающие с любопытством наблюдали эту сцену. В ней было что-то загадочное — это походило на заклинание. Когда Торнтон поднялся, Бэк схватил зубами его руку, подержал ее в закрытой пасти и потом медленно, неохотно выпустил. Это было его ответом без слов, так он по-своему выражал любовь к хозяину.

Торнтон отошел довольно далеко назад.

— Ну, Бэк! — скомандовал он.

Бэк натянул постромки, потом отпустил их на несколько дюймов. Это был его обычный прием.

— Пошел! — раздался голос Торнтона, как-то особенно четко и резко прозвучавший среди напряженного молчания.

Бэк качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натянул постромки и внезапно, рывком, остановил на ходу стопятидесятифунтовую массу своего тела. Кладь на нартах дрогнула, под полозьями что-то звонко захрустело.

— Ну! — крикнул опять Торнтон.

Бэк повторил тот же маневр, на этот раз дернув влево. Хруст перешел в громкий треск, нарты

закачались, и полозья со скрипом сползли на несколько дюймов в сторону. Нарты освободились от льда, приковывавшего их к месту.

Люди невольно притаили дыхание.

— Теперь марш!

Команда Торнтона грянула, как пистолетный выстрел. Бэк рванулся вперед, сильно натянув постромки. Все его тело подобралось в страшном усилии, мускулы выперли узлами и ходили под шерстью, как живые. Широкой грудью он почти припал к земле, голову вытянул вперед, а ноги летали как бешеные, прорезая на крепко укатанном снегу параллельные борозды. Нарты качались и дрожали и уже наполовину сдвинулись с места. Вдруг Бэк поскользнулся одной лапой, и кто-то в толпе громко ахнул. Но нарты уже стремительно задергались и, больше не застревая на месте, толчками двинулись вперед — сперва на полдюйма… потом на дюйм… еще на два. Толчки заметно выравнивались, и когда нарты, преодолев наконец инерцию, набрали скорость, Бэк подхватил их и повез.

Люди тяжело переводили дух, не сознавая, что за минуту перед тем они не дышали. А Торнтон бежал за нартами, подгоняя Бэка отрывистыми, веселыми криками. Расстояние было вымерено

заранее, и когда Бэк подбегал к вязанке дров, положенной там, где кончались сто ярдов, раздались восторженные крики. Они перешли в рев, когда Бэк, пробежав мимо вязанки, остановился по команде Торнтона. Все бесновались от восторга, даже Мэттьюсон. Полетели в воздух шапки, рукавицы. Люди пожимали друг другу руки, не разбирая, кто перед ними — знакомый или незнакомый, и все восклицания сливались в какой-то бессвязный галдеж.

А Торнтон стоял на коленях перед Бэком и, припав лбом к его лбу, тряс и качал его. Те, кто выбежал вперед, слышали, как он ругал Бэка. Он ругал его долго и с наслаждением, любовно и нежно.

— Поразительно, сэр! Поразительно! — бормотал король Скукум-Бенча. — Даю вам за него тысячу, целую тысячу, сэр. Ну, хотите тысячу двести?

Торнтон встал. Глаза у него были мокры, и он не пытался скрыть слезы, которые струились по его щекам.

— Нет, сэр, — сказал он королю Скукум-Бенча. — Нет, не хочу. Убирайтесь вы к черту, сэр! Это все, что я могу вам посоветовать.

Бэк схватил зубами руку Торнтона. Торнтон

опять стал трясти его. Зрители, движимые одним и тем же чувством, отступили на почтительное расстояние, и больше не нашлось нескромных людей, которые позволили бы себе нарушить этот разговор.

Глава 7
Зов услышан

Когда Бэк за пять минут заработал Джону Торнтону тысячу шестьсот долларов, тот смог уплатить кое-какие долги и двинуться вместе со своими компаньонами к востоку на поиски затерянной золотой россыпи, легенда о которой была так же стара, как история этого края. Многие искали ее, немногие нашли, а большинство искавших не вернулось из своего путешествия. Сказочная россыпь была причиной многих трагедий и окружена тайной. Никому не было известно, кто первый открыл ее. Даже самые древние легенды об этом не упоминали. Люди знали только, что на том месте стояла старая, полуразвалившаяся хижина. Некоторые золотоискатели в свой смертный час клялись, что видели и хижину и россыпь, и в доказательство показывали самородки, которым не было равных на всем Севере. Однако среди живых не осталось ни одного человека, которому удалось добыть что-либо из этой сокровищницы, а мертвые были мертвы. И Джон Торнтон, Пит и Ганс, взяв с собой

Бэка и еще полдюжины собак, двинулись на восток по неисследованной дороге, надеясь дойти туда, куда не дошли другие люди и собаки. Они прошли семьдесят миль вверх по Юкону, затем повернули налево, по реке Стюарт, миновали Мэйо и Мак-Квещен и продолжали путь до того места, где река Стюарт превращается в ручеек и вьется вокруг высоких скал горного хребта, идущего вдоль всего материка.

Джон Торнтон немногого требовал от людей и природы. Пустынные, дикие места его не страшили. С щепоткой соли в кармане и ружьем за плечами он забирался в лесную глушь и бродил, где вздумается и сколько вздумается. Он жил, как индеец, никогда и никуда не спешил и во время своих странствий добывал себе пищу охотой. А если дичи не попадалось, он с тем же спокойствием индейца продолжал путь в твердой уверенности, что рано или поздно набредет на нее. И во время великого путешествия на восток их меню состояло из добытого охотой свежего мяса, поклажа на нартах — главным образом из снаряжения и необходимых орудий, а программа была составлена на неограниченное время.

Бэк беспредельно наслаждался такой жизнью — охотой, рыбной ловлей, блужданием по

новым, незнакомым местам. Они то по нескольку недель подряд шли и шли, то целыми неделями отдыхали, разбив где-нибудь лагерь, и тогда собаки бездельничали, а люди, взрывая мерзлую землю или породу, без конца промывали ее в лотках у костра, ища в ней золота. Иногда они голодали, иногда роскошествовали — все зависело от того, много ли по дороге попадалось дичи и удачна ли бывала охота. Подошло лето, и люди и собаки, навьюченные поклажей, переплывали на плоту голубые горные озера, спускались или поднимались по течению незнакомых рек в утлых челноках, выпиленных из стволов деревьев.

Проходили месяцы, а они все бродили среди диких просторов этой неисследованной земли, где не было людей, но где когда-то побывали люди, если верить легенде о покинутой хижине. Переходили горные хребты, разделявшие реки, и не раз их здесь застигали снежные бураны. Дрожали от холода под полуночным солнцем на голых вершинах, между границей лесов и вечными снегами. Спускались в теплые долины, где тучами носилась мошкара, и в тени ледников собирали спелую землянику и цветы, которые могли соперничать красотой с лучшими цветами Юга. Осенью они очутились в волшебной стране

озер, печальной и безмолвной, где, должно быть, когда-то водилась дичь, но теперь не было нигде и признака жизни — только холодный ветер свистел, замерзала вода в укрытых местах да меланхолически журчали волны, набегая на пустынный берег.

И вторую зиму проходили они, ища давно исчезнувшие следы людей, которые побывали здесь до них. Однажды они набрели на тропинку, проложенную в дремучем лесу. Это была очень старая тропинка — и они вообразили, что заброшенная хижина где-то совсем близко. Но тропинка начиналась неведомо где и кончалась неведомо где — и оставалось загадкой, кто и для чего протоптал ее.

В другой раз они наткнулись на остатки разрушенного временем охотничьего шалаша, и между клочьями истлевших одеял Джон Торнтон нашел длинноствольное кремневое ружье. Он знал, что ружья этого типа выпускала Компания Гудзонова залива в первые годы всеобщей тяги на северо-запад. Тогда за одно ружье давали такой же высоты тюк плотно уложенных бобровых шкурок. Больше среди развалин не нашлось ничего, что напоминало бы о человеке, который некогда построил этот шалаш и оставил между

одеялами свое ружье.

Снова наступила весна, и после долгих странствий они в конце концов нашли не легендарную покинутую хижину, а поверхностную россыпь в широкой долине, где было столько золота, что оно, как желтое масло, оседало на дне промывочного лотка. Три товарища не стали продолжать поиски. Здесь они за день намывали на тысячи долларов чистого золотого песка и самородков, а работали каждый день. Золото насыпали в мешки из лосиных шкур, по пятьдесят фунтов в мешок, и мешки укладывали штабелями, как дрова, перед шалашом, который они сплели себе из еловых веток. Поглощенные своим тяжелым трудом, они не замечали, как летит время. Дни пролетали, как сон, а груды сокровищ все росли и росли.

Собакам делать было решительно нечего — только время от времени приносить дичь, которую настреляет Торнтон, и Бэк целыми часами лежал в задумчивости у огня. В эти часы безделья ему все чаще представлялся коротконогий волосатый человек. И, жмурясь на огонь, Бэк в своем воображении бродил с этим человеком в другом мире, который смутно вспоминался ему.

В этом другом мире, видимо, царил страх.

Наблюдая за волосатым человеком, когда тот спал у костра, уткнув голову в колени и обняв ее руками, Бэк замечал, что спит он беспокойно, часто вздрагивает во сне, а просыпаясь, боязливо вглядывается в темноту и подбрасывает сучья в огонь. Если они ходили по берегу моря, где волосатый собирал раковины и тут же съедал их содержимое, глаза его шныряли по сторонам, ища, не таится ли где опасность, а ноги готовы были при первом тревожном признаке вихрем мчаться прочь. По лесу они пробирались бесшумно — впереди волосатый, за ним Бэк. И оба всегда были настороже, уши у обоих шевелились и ноздри вздрагивали, потому что у человека слух и чутье были такие же тонкие, как у Бэка. Волосатый умел лазить по деревьям так же быстро, как бегать по земле. Хватаясь то за одну ветку, то за другую, он перепрыгивал иногда расстояние в десять-двенадцать футов между одним деревом и другим, балансируя в воздухе и никогда не срываясь. На деревьях он чувствовал себя так же свободно, как на земле. Бэку вспоминались ночи, когда он сторожил под деревом, на котором спал волосатый человек, крепко уцепившись руками за ветви.

И сродни этим видениям, в которых являлся

Бэку волосатый человек, был зов, по-прежнему звучавший из глубин темного леса. Он вселял в Бэка сильную тревогу, вызывал непонятные желания. Бэк испытывал какую-то смутную радость, и беспокойство, и буйную тоску неведомо о чем. Иногда он бежал в лес, откуда ему слышался этот зов, искал его там, как нечто осязаемое, и лаял то тихо, то воинственно, смотря по настроению. Он тыкался носом в холодный лесной мох или сырую землю, покрытую высокой травой, и фыркал от блаженства, вдыхая их запах. Или часами, словно притаившись в засаде, лежал за поваленными бурей стволами, обросшими древесной губкой, и, наставив уши, широко раскрыв глаза, ловил каждый звук, каждое движение вокруг. Быть может, лежа тут, он подстерегал тот неведомый зов, не дававший ему покоя. Он и сам не знал, зачем он все это делает: он повиновался чему-то, что было сильнее его, и делал все безотчетно.

Он был теперь весь во власти непобедимых инстинктов. Иногда лежит в лагере и дремлет, разнеженный теплом, — и вдруг поднимет голову, насторожит уши, как будто напряженно прислушиваясь, затем вскакивает и мчится все дальше и дальше, часами носится по лесу или на просторе открытых равнин. Он любил бегать по

дну пересохших речек, следить за жизнью леса. Целыми днями лежал в кустах, откуда можно было наблюдать за куропатками, которые важно прохаживались по траве или, хлопая крыльями, перелетали с места на место. Но больше всего нравилось Бэку бегать в светлом сумраке летних ночей и слушать сонный, глухой шепот леса, читать звуки и приметы, как человек читает книгу, искать, искать то таинственное, чей зов он слышал всегда, и наяву и во сне.

Раз ночью он со сна испуганно вскочил, широко раскрыв глаза, дрожащими ноздрями втягивая воздух. Вся шерсть на нем встала дыбом и ходила, как волны под ветром. Из леса доносился зов, такой внятный, как никогда. Это был протяжный вой, и похожий и непохожий на вой ездовых собак. Бэку он показался знакомым — да, он уже слышал его когда-то! В несколько прыжков пробежал он через спящий лагерь, бесшумно и быстро помчался в лес. Когда вой стал слышен уже где-то близко, Бэк пошел тише, соблюдая величайшую осторожность. Наконец он подошел к открытой поляне и, выглянув из-за деревьев, увидел большого тощего волка, который выл, задрав морду кверху.

Бэк не произвел ни малейшего шума, но волк

почуял его и перестал выть. Он нюхал воздух, пытаясь определить, где враг. Весь подобравшись и вытянув хвост палкой, Бэк, крадучись, вышел на поляну, с необычной для него настороженностью переставляя лапы. В каждом его движении была и угроза и одновременно дружественное предложение мира. Именно так встречаются хищники лесов. Но волк, увидев Бэка, обратился в бегство. Бэк большими скачками помчался вслед, охваченный бешеным желанием догнать его. Он загнал его в ложе высохшего ручья, где выход загораживали сплошные заросли кустарника. Волк заметался, завертелся, приседая на задние лапы, как это делали Джо и другие собаки, когда их загоняли в тупик. Он рычал и, ощетинившись, непрерывно щелкал зубами.

Бэк не нападал, а кружил около волка, всячески доказывая свои мирные намерения. Но волк был настроен подозрительно и трусил, так как Бэк был втрое крупнее его и на целую голову выше. Улучив момент, серый бросился бежать, и опять началась погоня. Порой Бэку удавалось снова загнать его куда-нибудь, и все повторялось сначала. Волк был очень истощен, иначе Бэку не так-то легко было бы догнать его. Он бежал, а когда голова Бэка оказывалась уже у его бока, начинал

вертеться на месте, готовый защищаться, но при первой же возможности снова бросался бежать.

В конце концов упорство Бэка было вознаграждено. Волк, убедившись в безобидности его намерений, обернулся, и они обнюхались. Установив таким образом дружеские отношения, они стали играть, но с той напряженной и боязливой осторожностью, под которой дикие звери таят свою свирепость. Поиграв с Бэком, волк побежал дальше легкой рысцой, всем своим видом давая понять, что он куда-то спешит и приглашает Бэка следовать за ним.

Они побежали рядом в густом сумраке, сначала вверх по речке, по тому ущелью, на дне которого она протекала, потом через мрачные горы, где она брала начало.

По противоположному склону водораздела они спустились на равнину, где были большие леса и много речек, и этими лесами они бежали и бежали дальше. Проходили часы, уже и солнце стояло высоко в небе, и заметно потеплело. Бэк был в диком упоении. Теперь он знал, что бежит рядом со своим лесным братом именно туда, откуда шел властный зов, который он слышал во сне и наяву. В нем быстро оживали какие-то древние воспоминания, и он отзывался на них, как некогда

отзывался на ту действительность, призраками которой они были. Да, все то, что было сейчас, происходило уже когда-то, в том, другом мире, который смутно помнился ему: вот так же он бегал на воле, и под ногами у него была нехоженая земля, а над головой — необъятное небо.

Они остановились у ручья, чтобы напиться, и тут Бэк вспомнил о Джоне Торнтоне. Он сел. Волк опять пустился было бежать туда, откуда, несомненно, шел зов, но, видя, что Бэк не двигается с места, вернулся, потыкался носом в его нос и всячески пробовал подстегнуть его. Но Бэк отвернулся от него и медленно двинулся в обратный путь. Чуть не целый час его дикий собрат бежал рядом и тихо визжал. Потом он сел, поднял морду к небу и завыл. Этот унылый вой Бэк, удаляясь, слышал еще долго, пока он не замер вдали.

Джон Торнтон обедал, когда Бэк влетел в лагерь и кинулся к нему. Безумствуя от любви, он опрокинул хозяина на землю, наскакивал на него, лизал ему лицо, кусал его руку — словом, «валял дурака», как Джон Торнтон называл это, а хозяин, в свою очередь, ухватив пса за голову, тормошил его и любовно ругал последними словами.

Двое суток Бэк не выходил за пределы лагеря и неотступно следил за Торнтоном. Он ходил за

ним по пятам, сопровождал его на прииск, смотрел, как он ест, как вечером залезает под одеяла и утром вылезает из-под них. Но прошли эти двое суток — и зов из леса зазвучал в ушах Бэка еще настойчивее и повелительнее, чем прежде. Он опять забеспокоился, его преследовали воспоминания о веселых долинах по ту сторону гор, о лесном брате, о том, как они бежали рядом среди необозримых лесных просторов. Он снова стал убегать в лес, но дикого брата больше не встречал. Как ни вслушивался Бэк долгими ночами, он не слышал его унылого воя.

Он стал по нескольку дней пропадать из лагеря, ночуя где придется. И однажды он перебрался через знакомый водораздел и снова попал в страну лесов и рек. Здесь он бродил целую неделю, напрасно ища свежих следов дикого брата. Он питался дичью, которую убивал по дороге, и все бежал и бежал легкими, длинными скачками, ничуть не уставая. Он ловил лососей в большой реке, которая где-то далеко вливалась в море, и у этой же реки он загрыз черного медведя. Медведь, так же как и Бэк, ловил здесь рыбу и, ослепленный комарами, бросился бежать к лесу, страшный в своей бессильной ярости. Несмотря на его беспомощность, схватка была жестокой

и окончательно пробудила дремавшего в Бэке зверя. Через два дня он вернулся на то место, где лежал убитый им медведь, и увидел, что с десяток росомах дерутся из-за этой добычи. Он расшвырял их, как мякину, а две, не успевшие убежать, остались на месте, навсегда лишенные возможности драться.

Бэк становился кровожадным хищником, который, чтобы жить, убивает живых и один, без чужой помощи, полагаясь лишь на свою силу и храбрость, торжествует над враждебной природой, выживает там, где может выжить только сильный. Это сознание своей силы пробудило в нем гордость. Она проявлялась во всех его движениях, сквозила в игре каждого мускула, о ней выразительнее всяких слов говорили все его повадки, и, казалось, гордость эта даже придавала новый блеск и пышность его великолепной шерсти. Если бы не коричневые пятна на морде и над глазами да белая полоска шерсти на груди, его можно было бы принять за громадного волка. От отца сенбернара он унаследовал свои размеры и вес, но все остальное было от матери овчарки. Морда у него была длинная, волчья, только больше, чем у волка, а череп, хотя шире и массивнее, формой тоже напоминал череп волка.

Он обладал чисто волчьей хитростью, коварной хитростью дикого зверя. А кроме того, в нем соединились ум овчарки и понятливость сенбернара. Все это в сочетании с опытом, приобретенным в суровейшей из школ, делало Бэка страшнее любого зверя, рыщущего в диких лесах. Этот пес, питавшийся только сырым мясом, был теперь в полном расцвете сил, и жизненная энергия била в нем через край. Когда Торнтон гладил его по спине, шерсть Бэка потрескивала под его рукой, словно каждый ее волосок излучал скрытый в нем магнетизм. Все в нем, каждая клеточка тела и мозга, каждая жилка и каждый нерв, жило напряженной жизнью, действовало с великолепной слаженностью, в полном равновесии. На все, что он видел и слышал, на все, что требовало отклика, Бэк откликался с молниеносной быстротой. Собаки северных пород быстро нападают и быстро защищаются от нападения, но Бэк делал это вдвое быстрее их. Увидит движение, услышит звук — и реагирует на них раньше, чем другая собака успела бы сообразить, в чем дело. Бэк воспринимал, решал и действовал одновременно. Эти три момента — восприятие, решение, действие, — как известно, следуют друг за другом. Но у Бэка промежутки между ними бы-

ли так ничтожны, что, казалось, все происходило сразу. Мускулы его были заряжены жизненной энергией, работали быстро и точно, как стальные пружины. Жизнь, ликующая, буйная, разливалась в нем мощным потоком, — казалось, вот-вот этот поток в своем неудержимом стремлении разорвет его на части, вырвется наружу и зальет весь мир.

— Другой такой собаки на свете нет и не было! — сказал однажды Джон Торнтон товарищам, наблюдая Бэка, который шествовал к выходу из лагеря.

— Да, когда его отливали, форма, наверное, лопнула по всем швам и больше не употреблялась, — сострил Пит.

— Ей-богу, я сам так думаю, — подтвердил Ганс.

Они видели, как Бэк выходил из лагеря, но не видели той мгновенной и страшной перемены, которая происходила в нем, как только лес укрывал его от людских глаз. В лесу он уже не шествовал важно, там он сразу превращался в дикого зверя и крался бесшумно, как кошка, мелькая и скрываясь между деревьями, подобно легкой тени среди других теней леса. Он умел везде найти себе укрытие, умел ползти на жи-

воте, как змея, и, как змея, внезапно нападать и разить. Он ловко вытаскивал куропатку из гнезда, убивал спящего зайца и ловил на лету бурундуков, на секунду опоздавших взобраться на дерево. Не успевали уплыть от него и рыбы в незамерзающих водах, и даже бобров, чинивших свои плотины, не спасала их осторожность. Бэк убивал не из бессмысленной жестокости, а для того, чтобы насытиться. Он любил есть только то, что убивал сам. В его поведении на охоте заметно было иногда желание позабавиться. Например, ему доставляло большое удовольствие подкрадываться к белке и, когда она уже почти была у него в зубах, дать ей, смертельно перепуганной, взлететь на верхушку дерева.

К осени в лесу появилось много лосей — они проходили медленно, перекочевывая на зимовку в ниже расположенные долины, где было не так холодно. Бэк уже затравил раз отбившегося от стада лосенка, но ему хотелось более крупной добычи, и однажды он наткнулся на нее в горах у истока речки. Целое стадо лосей — голов двадцать — пришло сюда из района лесов и рек, и вожаком у них был крупный самец ростом выше шести футов. Он был уже разъярен, и более грозного противника Бэку трудно было и пожелать.

Лось покачивал громадными рогами, которые разветвлялись на четырнадцать отростков. В его маленьких глазках светилась бешеная злоба, и, увидев Бэка, он заревел от ярости.

В боку у лося, близко к груди, торчала оперенная стрела, и оттого-то он был так зол. Инстинкт, унаследованный Бэком от предков, охотившихся в лесу в первобытные времена, подсказал ему, что прежде всего надо отбить вожака от стада. Задача была не из легких. Пес лаял и метался перед лосем на таком расстоянии, чтобы его не могли достать громадные рога и страшные скошенные копыта, которые одним ударом вышибли бы из него дух. Не имея возможности повернуть спину к этому клыкастому чудовищу и уйти, лось окончательно рассвирепел. В приступах ярости он то и дело наступал на Бэка, но тот ловко увертывался, притворяясь беспомощным и тем раззадоривая лося и заманивая его все дальше. Но всякий раз, как старый лось отделялся от стада, два-три молодых самца атаковали Бэка, давая раненому вожаку возможность вернуться.

Есть у хищников особое терпение, неутомимое, настойчивое, упорное, как сама жизнь, которое помогает пауку в паутине, змее, свернувшейся кольцом, пантере в засаде замирать неподвижно

на бесконечные часы. Терпение это проявляет все живое, когда охотится за живой пищей. Его проявлял теперь и Бэк, забегая сбоку и задерживая стадо, дразня молодых самцов, пугая самок с лосятами, доводя раненого вожака до бессильного бешенства. Это продолжалось целых полдня. Бэк словно раздваивался, атакуя со всех сторон, окружая стадо каким-то вихрем угроз, снова и снова отрезая свою жертву, как только ей удавалось вернуться к стаду, истощая терпение преследуемых, у которых его всегда меньше, чем у преследователей.

К концу дня, когда солнце стало клониться к закату (осень вступила в свои права, темнело рано, и ночь длилась уже шесть часов), молодые лоси все менее и менее охотно отходили от стада, чтобы помочь своему вожаку. Зима приближалась, им надо было спешить вниз, в долины, а тут никак не удавалось отделаться от этого неутомимого зверя, который задерживал их. К тому же опасность грозила не всему стаду, не им, молодым, а только жизни одного старого лося, и, так как им собственная жизнь была дороже, они в конце концов готовы были пожертвовать вожаком.

Наступили сумерки. Старый лось стоял, по-

нурив голову, и смотрел на свое стадо: самок, которых он любил, лосят, которым был отцом, самцов, которых подчинил себе. Смотрел, как они торопливо уходили в угасающем свете дня. Он не мог уйти с ними, потому что перед его носом плясало безжалостное клыкастое чудовище и не давало ему идти. В нем было весу больше полутонны, он прожил долгую, суровую жизнь, полную борьбы и лишений, и вот его ожидала смерть от зубов какого-то существа, которое едва доходило ему до массивных узловатых колен!

С этого момента Бэк ни днем, ни ночью не оставлял свою добычу, не давал раненому лосю ни минуты покоя. Он не позволял ему пощипать листьев или побегов молодых берез и верб, не давал напиться из ручейков, которые они переходили, и лось не мог утолить сжигавшую его жажду. Часто он в отчаянии пускался бежать. Бэк не пытался его остановить, но спокойно бежал за ним по пятам, довольный ходом этой игры. Когда лось стоял на одном месте, Бэк ложился на землю; когда же тот пытался поесть или попить, он яростно наскакивал на него.

Большая голова лося с ветвистыми, как деревья, рогами клонилась все ниже, он плелся все медленнее. Теперь он подолгу стоял, опустив

морду к земле, с вяло повисшими ушами, и у Бэка было больше времени для того, чтобы сбегать напиться или отдохнуть. Когда он, тяжело дыша и высунув красный язык, лежал, не спуская глаз с громадного лося, ему казалось, что все окружающее принимает какой-то иной облик. Он чувствовал: в мире вокруг происходит что-то новое. Казалось, вместе с лосями сюда незримо пришли и какие-то другие живые существа. Лес, и вода, и воздух словно трепетали от их присутствия. Об этом говорили Бэку не глаза его, не слух, не обоняние, а какое-то внутреннее, безошибочное чутье. Он не видел и не слышал ничего необычного, но он знал, что в окружающем мире произошла перемена, что где-то рыщут какие-то странные существа. И он решил исследовать мир вокруг, когда доведет до конца дело, которым сейчас занят.

Наконец на исходе четвертого дня он доконал-таки старого лося. Целый день и целую ночь он оставался около своей добычи, отъедался, отсыпался и бродил вокруг. Потом, отдохнув и восстановив силы, он вспомнил о Джоне Торнтоне и легким галопом помчался к лагерю. Он бежал много часов, ни разу не сбившись с запутанной дороги, направляясь прямо домой по

незнакомой местности так уверенно, что мог посрамить человека с его компасом.

По дороге Бэк все сильнее и сильнее чуял вокруг что-то новое, тревожное. Повсюду шла теперь какая-то иная жизнь, чем та, какую он наблюдал здесь все лето. И говорило об этом Бэку уже не только таинственное внутреннее чутье. Нет, об этом щебетали птицы, об этом болтали между собой белки, даже ветерок нашептывал ему это. Бэк несколько раз останавливался и, усиленно нюхая свежий утренний воздух, чуял в нем весть, которая заставляла его бежать быстрее. Его угнетало предчувствие какой-то беды, которая надвигалась или, может быть, уже случилась. И когда он пересек последний водораздел и спустился в долину, где находился лагерь, он побежал тише, соблюдая осторожность.

Пробежав три мили, он наткнулся на свежие следы, и шерсть у него на затылке зашевелилась. Следы вели прямо к лагерю, к Джону Торнтону! Бэк помчался быстрее и еще бесшумнее. Все чувства в нем были напряжены, он остро воспринимал многочисленные мелкие подробности, которые рассказали ему многое, но не все до конца. Нюхом чуял он, что по тропе, по которой он бежал, до него прошли какие-то люди. Что-то

зловещее таил в своем молчании затихший лес. Примолкли птицы, попрятались все белки, одна только попалась на глаза Бэку: ее серенькое блестящее тельце прильнуло к серой поверхности сухого сука так плотно, что казалось частью его, каким-то наростом на дереве.

Бэк несся легко и бесшумно, как тень, и вдруг морда его быстро повернулась в сторону, словно направленная какой-то посторонней силой. Он пошел на новый, незнакомый запах и в кустах увидел Нига. Пес лежал на боку мертвый. Видимо, он дополз сюда и тут испустил дух. В каждом боку у него торчало по оперенной стреле.

Пройдя еще сто ярдов, Бэк наткнулся на одну из ездовых собак, купленных Торнтоном в Доусоне. Собака в предсмертных муках корчилась на земле, у самой тропинки, и Бэк обошел ее, не останавливаясь. Из лагеря глухо доносились голоса, то затихая, то усиливаясь, — то был монотонный ритм песни. Бэк прополз на животе до конца просеки и тут нашел Ганса, лежащего ничком и утыканного стрелами, как дикобраз. В эту самую минуту, глянув в сторону, где раньше стоял их шалаш из еловых веток, Бэк увидел зрелище, от которого у него вся шерсть поднялась дыбом. Его охватил порыв неудержимой ярости. Сам того

не сознавая, он зарычал громко, грозно, свирепо. В последний раз в жизни страсть в нем взяла верх над хитростью и рассудком. Бэк потерял голову, и этому виной была его великая любовь к Джону Торнтону.

Ихеты, плясавшие вокруг остатков шалаша, вдруг услышали страшный рык мчавшегося на них зверя, какого они никогда еще не видели. Бэк, как живой ураган, яростно налетел на них, обезумев от жажды мщения. Он кинулся на того, кто стоял ближе всех (это был вождь ихетов), и разорвал ему горло зубами так, что из вены фонтаном брызнула кровь. Когда индеец упал, Бэк, не трогая его больше, прыгнул на следующего и ему тоже перегрыз горло. Ничто не могло его остановить. Он ринулся в толпу, рвал, терзал, уничтожал, не обращая внимания на стрелы, сыпавшиеся на него. Он метался с такой непостижимой быстротой, а индейцы сбились в такую тесную кучу, что они своими стрелами поражали не его, а друг друга. Один молодой охотник метнул в Бэка копье, но оно угодило в грудь другому охотнику — и с такой силой, что острие прошло насквозь и вышло на спине. Тут ихетов охватил панический ужас, и они бросились бежать в лес, крича, что на них напал злой дух.

Бэк действительно казался воплощением дьявола, когда гнался за ними по пятам, преследуя их между деревьями, как оленей. Роковым был этот день для ихетов. Они рассеялись по всем окрестным лесам, и только через неделю те, кто уцелел, собрались далеко в долине и стали считать потери.

А Бэк, устав гнаться за ними, вернулся в опустевший лагерь. Он нашел Пита на том месте, где его застали сонного и убили раньше, чем он успел вылезть из-под одеял. Земля вокруг хранила свежие следы отчаянной борьбы Торнтона, и Бэк обнюхал их, эти следы, все до последнего. Они привели его к берегу глубокого пруда. На самом краю его головой и передними лапами в воде лежала верная Скит, не оставившая хозяина до последней минуты. Пруд, тинистый и мутный от промывки руды, хорошо скрывал то, что лежало на дне. А лежал там Джон Торнтон: Бэк проследил его шаги до самой воды, и обратных следов нигде не было видно.

Весь день Бэк сидел у пруда или беспокойно бродил по лагерю. Он знал, что такое смерть: человек перестает двигаться, потом навсегда исчезает из жизни живых. Он понял, что Джон Торнтон умер, что его нет и не будет, и ощущал

какую-то пустоту внутри. Это было похоже на голод, но пустота причиняла боль, и никакой пищей ее нельзя было заполнить. Боль забывалась только в те минуты, когда он, остановившись, смотрел на трупы ихетов. Тогда в нем поднималась великая гордость — никогда еще он так не гордился собой! Ведь он убил человека, самую благородную дичь, убил по закону дубины и клыка. Он с любопытством обнюхивал мертвецов. Оказывается, человека убить очень легко! Легче, чем обыкновенную собаку. Без своих стрел и копий и дубин они не могут равняться силой с ним, Бэком! И, значит, впредь их бояться нечего, когда у них в руках нет стрел, копья или дубинки.

Наступила ночь, высоко над деревьями взошла полная луна и залила землю призрачным светом. И в эту ночь, печально сидя у пруда, Бэк ясно почувствовал, что в лесу идет какая-то новая для него жизнь. Он встал, насторожил уши, понюхал воздух. Издалека слабо, но отчетливо донесся одинокий вой, затем к нему присоединился целый хор. Вой слышался все громче, он приближался с каждой минутой. Снова Бэк почувствовал, что слышал его когда-то в том, другом, мире, который жил в глубине его памяти. Он вышел на открытое место и прислушался. Да, это был тот

самый зов, многоголосый зов! Никогда еще он не звучал так настойчиво, не манил так, как сейчас, и Бэк готов был ему повиноваться. Джон Торнтон умер. Последние узы были порваны. Люди с их требованиями и правами более не существовали для Бэка.

Охотясь за живой добычей, волчья стая, так же как индейцы, шла вслед за перекочевывавшими лосями и, пройдя край лесов и рек, ворвалась в долину Бэка. Серебристым потоком хлынула она на поляну, купавшуюся в лунном свете, а посреди поляны стоял Бэк, неподвижный, как изваяние, и ждал. Этот громадный и неподвижный зверь внушал волкам страх, и только после минутной нерешимости самый храбрый из них прыгнул к Бэку. С быстротой молнии Бэк нанес удар и сломал ему шейные позвонки. Некоторое время он стоял так же неподвижно, как прежде, а за ним в агонии катался по земле умирающий волк. Еще три волка один за другим пытались напасть на него — и все отступили, обливаясь кровью, с разорванным горлом или плечом.

Наконец вся стая бросилась на Бэка. Волки лезли на него, толпясь и мешая друг другу в своем нетерпении овладеть добычей. Но изумительное проворство и ловкость выручили Бэка. Вертясь

во все стороны на задних лапах, действуя зубами и когтями, он отбивался одновременно от всех нападающих. Чтобы помешать им зайти с тыла, ему пришлось отступить. Он пятился, пока не миновал пруд и не очутился в русле высохшей речки.

Дальше он наткнулся на высокий откос и, двигаясь вдоль него, добрался до глубокой выемки, где хозяева его брали песок для промывки. Тут он был уже защищен с трех сторон, и ему оставалось только отражать натиск врагов спереди.

Он делал это так успешно, что через полчаса волки отступили в полном смятении. Они тяжело дышали, высунув языки. Их белые клыки резко белели в лунном свете. Одни прилегли, подняв морды и навострив уши. Другие стояли, следя за Бэком. А некоторые лакали воду из пруда. Большой и тощий серый волк осторожно вышел вперед. Он явно был настроен дружелюбно — и Бэк узнал того дикого собрата, с которым он бегал по лесу целые сутки. Волк тихонько повизгивал, и, когда Бэк ответил ему тем же, они обнюхались.

Затем подошел к Бэку и другой, старый волк, весь в рубцах от драк. Бэк сначала оскалил зубы, но потом обнюхался и с ним. После этой цере-

монии старый волк сел, поднял морду к луне и протяжно завыл. Завыли и все остальные. Бэк узнал тот зов, что тревожил его долгими ночами. И он тоже сел и завыл. Когда все затихли, он вышел из своего укрытия, и стая окружила его, обнюхивая наполовину дружески, наполовину враждебно. Вожаки опять завыли и побежали в лес. Волки бросились за ними, воя хором. Побежал и Бэк рядом со своим диким собратом. Бежал и выл.

На этом можно было бы и кончить рассказ о Бэке.

Прошло немного лет, и ихеты стали замечать, что порода лесных волков несколько изменилась. Попадались волки с коричневыми пятнами на голове и морде, с белой полоской на груди. Но еще удивительнее было то, что, по рассказам ихетов, во главе волчьей стаи бегал Дух Собаки. Они боялись этой собаки, потому что она была хитрее их. В лютые зимы она крала их запасы, утаскивала из их капканов добычу, загрызала их собак и не боялась самых храбрых охотников.

Рассказывали еще более страшные вещи: иногда охотники, уйдя в лес, не возвращались больше в стойбище, а некоторых находили потом мертвыми, с перегрызенным горлом, и вокруг на

снегу видны были следы лап крупнее волчьих.

Осенью, когда ихеты отправляются в погоню за лосями, одну долину они всегда обходят. И лица их женщин омрачает печаль, когда у костра начинаются рассказы о том, как Злой Дух явился в эту долину, избрав ее своим убежищем.

Ихеты не знают, что летом в эту долину забегает один лесной зверь. Это крупный волк с великолепной шерстью, и похожий и непохожий на других волков. Он приходит один из веселых лесных урочищ и спускается в долину, на полянку между деревьями. Здесь лежат истлевшие мешки из лосиных шкур, и течет из них на землю золотой поток, а сквозь него проросли высокие травы, укрывая золото от солнца.

Здесь странный волк сидит в задумчивости некоторое время, воет долго и уныло, потом уходит.

Не всегда он приходит сюда один. Когда наступают долгие зимние ночи и волки спускаются за добычей в долины, его можно увидеть здесь во главе целой стаи. В бледном свете луны или мерцающих переливах северного сияния он бежит, возвышаясь громадой над своими собратьями, и во все могучее горло поет песнь тех времен, когда мир был юн, — песнь волчьей стаи.

Белое безмолвие

Кармен и двух дней не протянет.

Мэйсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

— Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились, — сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку. — Они слабеют и в конце концов издыхают. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума: он…

Раз! Отощавший пес взметнулся вверх, едва не вцепившись клыками Мэйсону в горло.

— Ты что это придумал?

Сильный удар по голове рукояткой бича опрокинул собаку в снег, она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

— Я и говорю, посмотри на Шукума: Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, что не пройдет и недели, как он задерет Кармен.

— А я, — сказал Мэйлмют Кид, переворачивая хлеб, оттаивающий у костра, — бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди двести миль по непроложенному пути, еды хватит всего дней на шесть, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их куском.

— С завтрашнего дня никаких завтраков, — сказал Мэйлмют Кид, — и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди, набросятся на нас, если подвернется удобный случай.

— А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погрузился в созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости,

налив ему чашку кофе.

— Слава богу, что у нас вдоволь чая. Я видел, как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину — первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что в женщине можно видеть не только животное или вьючную скотину.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж на том условном языке, единственно на котором они и могли объясняться друг с другом, — вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедем к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода — словно водяные горы скачут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, двадцать снов, сорок снов, — для большей наглядности Мэйсон отсчитывал дни на пальцах, — и все время вода, плохая вода. Потом приедем в большое селение, народу много, все равно как мошкары летом. Вигвамы вот какие высокие — в десять, двадцать сосен!.. Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляю-

щий взгляд на Мэйлмюта Кида, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмют Кид насмешливо улыбнулся, но глаза Руфи расширились от удивления и счастья; она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

— А потом сядем в… в ящик, и — пифф! — поехали. — В виде пояснения Мэйсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: — И вот — пафф! — уже приехали! О великие шаманы! Ты едешь в форт Юкон, а я еду в Арктик-сити — двадцать пять снов. Длинная веревка оттуда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь! Как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь соды сколько нужно. И все время ты в форте Юкон, а я — в Арктик-сити. Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатились со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны, и к тому времени, когда драчунов разняли, женщи-

на уже успела увязать нарты и все было готово, чтобы двинуться в путь.

— Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали, потихоньку повизгивая, натягивать постромки, уперся в поворотный шест[3] и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогавший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и суровый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

— Ну вперед, хромоногие! — пробормотал он после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на Севере — тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще

---

[3] Примечания: 3

Поворотный шест, или **остол**, — толстый шест, с помощью которого направляют нарты.

по проложенной тропе.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются, и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу — отклонение от вертикали на ничтожную долю дюйма грозит бедой, — пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед — и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на пол-ярда. Кто проделывает это впервые, валится от изнеможения через сто ярдов, даже если до того он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во весь рост, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок; а тому, кто пройдет двадцать снов по Великой Северной Тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и подавленные величием Белого Безмолвия путники молча прокладывали себе путь. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего

сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом — надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию — тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек остается наедине с богом.

День клонился к вечеру. Русло реки делало тут крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий мыс. Но собаки никак не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то что Руфь и Мэйлмют Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы. Выше, еще выше — нарты выбрались на берег. Но тут вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные:

Мэйсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатились вниз по откосу, увлекая за собой упряжку.

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке.

— Перестань, Мэйсон! — вступился Мэйлмют Кид. — Несчастная и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих.

Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, — и длинный бич обвился вокруг провинившейся собаки. Кармен — это была она — жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом перевернулась на бок.

То была трудная, тягостная минута для путников: издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь умоляюще переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький укор, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства

не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец — ей, а, может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина, ни единого движения не было в осыпанном снегом лесу; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. Вдруг в воздухе пронесся вздох; они даже не услышали, а скорее ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мэйсон услышал треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть — как часто Мэйлмют Кид сталкивался с тем и другим! Еще дрожали иглы на ветвях, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не

стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец Кид положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища была немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды, и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля[4] человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни, и несчастного Мэйсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог: натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его

[4] Примечания: 4
Температура везде дана по Фаренгейту.

вниз, — способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы.

Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре: перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив.

Никакой надежды, сделать ничего нельзя. Медленно тянулась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоическим отчаянием, свойственным ее народу; на бронзовом лице Мэйлмюта Кида прибавилось несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мэйсон — он перенесся в Восточный Теннесси, к Великим Туманным Горам, и вновь переживал свое детство. Трогательно звучала мелодия давно забытого южного города: он бредил о купании в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все, и каждое слово отдавалось в его душе — так может сочувствовать только тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя, и Мэйлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его

шепот:

— Помнишь, как мы встретились на Танане?.. Четыре года минет в ближайший ледоход… Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая… вот и увлекся. А потом привязался к ней. Она была хорошей женой, в трудную минуту всегда рядом. А уж что касается нашего промысла, сам знаешь — равной ей не сыскать… Помнишь, как она переплыла пороги Оленьи Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая… Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком… дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Руфь — дело другое. Я думал покончить здесь со всем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты — и после этого опять рыба да оленина! Узнать

более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид… Почему бы тебе… да нет, ты всегда сторонился женщин… Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок… он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка… нет, этого не может быть… Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает… Дай ему хорошее образование… а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын… Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мэйлмют Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неиз-

вестно, как все обернется.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

— Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу… Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней… скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой… надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид…

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня… ты знаешь за что… за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа,

Мэйлмют Кид натянул на себя парку[5], надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэйсоном — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей

---

[5] Примечания: 5
Парка — верхняя меховая одежда.

ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль оставалось не более пяти фунтов муки. Руфь снова подошла к мужу, а Мэйлмют Кид освежевал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки грызлись между собой. Свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к земле, но только

тогда разбежались, когда от Кармен не осталось ни костей, ни клочка шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мэйсона, который снова перенесся в Теннесси, снова произносил несвязные проповеди, убеждая в чем-то своих собратьев.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело: Руфь наблюдала, как он сооружает хранилище, какие устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомах и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича смирив собак, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Товарища он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах ножа — и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко над землей.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед властелином всего живущего, перед мужчиной, которому не подобает прекословить. Кид не стал утешать Руфь, когда та напоследок поцеловала мужа, — ее народ не знает такого обычая, — а потом отвел

ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, погоняя собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впавшему в беспамятство; Руфь уже давно скрылась из виду, а он все сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, согревая его неуловимым сочувствием, а прозрачно-чистое и холодное Белое Безмолвие, раскинувшееся под стальным небом, безжалостно.

Прошел час, два — Мэйсон все не умирал. В полдень солнце, не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним. Его охватил страх. Раздался короткий выстрел. Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.

На берегах Сакраменто

Ветер мчится – хо-хо-хью! —
Прямо в Калифорнию.
Сакраменто – край богатый:
Золото гребут лопатой!

Худенький мальчик тонким пронзительным голосом распевал эту морскую песню, которую во всех частях света горланят матросы, выбирая якорь, чтобы двинуться в порт Фриско. Это был обыкновенный мальчуган, он никогда и моря-то в глаза не видел, но всего в двухстах футах от него — только спуститься с утеса — бурлила река Сакраменто. Малыш Джерри — так звали его, потому что был еще старый Джерри, его отец; от него-то и слышал Малыш эту песню и от него же унаследовал ярко-рыжие вихры, задорные голубые глаза и очень белую, усыпанную веснушками кожу.

Старый Джерри был моряк, он добрую половину своей жизни плавал по морям, а песня матросу сама просится на язык. Но однажды в каком-то азиатском порту, когда он вместе с двадцатью другими матросами пел, выбиваясь из сил над

проклятым якорем, слова этой песни впервые заставили его призадуматься всерьез. Очутившись в Сан-Франциско, он распрощался со своим судном и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.

Тут-то он и увидел золото. Он нанялся работать на рудник «Золотая Греза» и оказался в высшей степени полезным человеком при устройстве подвесной дороги на высоте двухсот футов над рекой.

Затем эта дорога осталась под его надзором. Он следил за тросами, держал их в исправности, любил их и вскоре стал незаменимым работником на руднике «Золотая Греза». А потом он полюбил хорошенькую Маргарет Келли, но она очень скоро покинула его и малютку Джерри, который только-только начинал ходить, и уснула непробудным сном на маленьком кладбище среди больших, суровых сосен.

Старый Джерри так и не вернулся на морскую службу. Он жил возле своей подвесной дороги и всю любовь, на какую способна была его душа, отдал толстым стальным тросам и Малышу Джерри. Для рудника «Золотая Греза» наступили черные дни, но и тогда старик остался на службе у Компании сторожить заброшенное предприятие.

Однако сегодня утром его что-то не было видно. Один только Малыш Джерри сидел на крылечке и распевал старую матросскую песню. Он сам приготовил себе завтрак и уже успел управиться с ним, а теперь вышел поглядеть на белый свет. Неподалеку, шагах в двадцати от него, возвышался громадный стальной барабан, на который наматывался бесконечный металлический трос. Рядом с барабаном стояла тщательно закрепленная вагонетка для руды. Проследив взглядом головокружительный полет стальных тросов, перекинутых высоко над рекой, Малыш Джерри различил далеко на том берегу другой барабан и другую вагонетку.

Сооружение это приводилось в действие просто силой тяжести: вагонетка двигалась, увлекаемая собственным весом, а в это время с противоположного берега двигалась пустая вагонетка. Когда нагруженную вагонетку опорожняли, а пустую нагружали рудой, все повторялось снова, повторялось много-много сотен и тысяч раз, с тех пор как старый Джерри стал смотрителем подвесной дороги.

Малыш Джерри перестал петь, услышав приближающиеся шаги. Высокий человек в синей рубахе, с винтовкой на плече вышел из соснового

леса. Это был Холл, сторож на руднике «Желтый Дракон», расположенном примерно в миле отсюда вверх по течению Сакраменто, где тоже была перекинута дорога на тот берег.

— Здорово, Малыш! — крикнул он. — Что ты тут делаешь один-одинешенек?

— А я здесь теперь за хозяина, — ответил Малыш Джерри как нельзя более небрежным тоном, словно ему не впервой было оставаться одному. — Отец, знаете, уехал.

— Куда уехал? — спросил Холл.

— В Сан-Франциско. Он еще вчера уехал. Брат у него умер, где-то в Старом Свете. Вот он и поехал с адвокатом потолковать. Завтра вечером вернется.

Все это Джерри выложил с гордым сознанием, что на него возложена большая ответственность — самолично сторожить рудник «Золотая Греза». Видно было в то же время, что он страшно рад замечательному приключению — возможности пожить совсем одному на этом утесе над рекой и самому готовить себе завтрак, обед и ужин.

— Ну, смотри будь поосторожней, — посоветовал ему Холл, — не вздумай баловать с тросами. А я вот иду посмотреть, не удастся ли подстре-

лить оленя в каньоне «Колченогой Коровы».

— Как бы дождя не было, — степенно промолвил Джерри.

— А мне что! Промокнуть, что ли, страшно, — засмеялся Холл и, повернувшись, скрылся между деревьями.

Предсказание Джерри насчет дождя сбылось. Часам к десяти сосны заскрипели, закачались, застонали, стекла в окнах задребезжали, дождь захлестал длинными косыми струями. В половине двенадцатого Джерри развел огонь в очаге и, едва пробило двенадцать, уселся обедать.

«Сегодня уж, конечно, гулять не придется», — решил он, тщательно вымыв и убрав посуду после еды. И еще подумал: «Как, должно быть, вымок Холл! И удалось ли ему подстрелить оленя?»

Около часу дня постучали в дверь, и, когда Джерри открыл, в комнату стремительно ворвались мужчина и женщина, словно их силком впихнул ветер. Это были мистер и миссис Спиллен, фермеры, жившие в уединенной долине, милях в двенадцати от реки.

— А где Холл? — запыхавшись, отрывисто спросил Спиллен.

Джерри заметил, что фермер чем-то взволнован и куда-то торопится, а миссис Спиллен,

по-видимому, очень расстроена.

Это была худая, совсем уже поблекшая женщина, много поработавшая на своем веку; унылый, беспросветный труд наложил на ее лицо тяжелую печать. Та же тяжкая жизнь согнула спину ее мужа, искорежила его руки и покрыла волосы сухим пеплом ранней седины.

— Он на охоту пошел, в каньон «Колченогой Коровы». А вам что, на ту сторону, что ли, надо?

Женщина стала тихонько всхлипывать, а у Спиллена вырвался возглас, выражавший крайнюю досаду. Он подошел к окну. Джерри стал с ним рядом и тоже поглядел в окно, в сторону подвесной дороги; тросов почти не было видно за густой пеленой дождя.

Обычно жители окрестных селений переправлялись через Сакраменто по канатной дороге «Желтого Дракона». За переправу полагалась небольшая плата, из которой Компания «Желтого Дракона» платила жалованье Холлу.

— Нам надо на тот берег, Джерри, — сказал Спиллен. — Отца у нее, — он ткнул пальцем в сторону плачущей жены, — задавило на руднике, в шахте «Клеверного Листа». Там взрыв был. Говорят, не выживет. А нам только что дали знать.

Джерри почувствовал, как у него екнуло сердце.

Он понял, что Спиллен хочет переправиться по тросам «Золотой Грезы», но без старого Джерри он не мог решиться на такой шаг, потому что по их дороге не возили пассажиров, и она уже давно находилась в бездействии.

— Может быть, Холл скоро придет, — промолвил мальчик.

Спиллен покачал головой.

— А отец где?

— В Сан-Франциско, — коротко ответил Джерри.

С хриплым стоном Спиллен яростно хлопнул кулаком по ладони. Жена его всхлипывала все громче, и Джерри слышал, как она причитала: «Ах, не поспеем, не поспеем, умрет…»

Мальчик чувствовал, что и сам вот-вот заплачет; он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Но Спиллен решил за него.

— Послушай, Малыш, — сказал он тоном, не допускающим возражений, — нам с женой надо переправиться во что бы то ни стало по твоей дороге. Можешь ты нам помочь в этом деле — запустить эту штуку?

Джерри невольно попятился, точно ему предложили коснуться чего-то недозволенного.

— Я лучше пойду посмотрю, не вернулся ли

Холл, — робко сказал он.

— А если нет?

Джерри снова замялся.

— Если случится что, я за все отвечаю. Видишь ли, Малыш, нам до зарезу надо на ту сторону. — Джерри нерешительно кивнул. — А дожидаться Холла нет никакого смысла, — продолжал Спиллен, — ты сам понимаешь, что из каньона «Колченогой Коровы» он не скоро вернется. Так что идем-ка, запусти барабан.

«Не удивительно, что у миссис Спиллен был такой испуганный вид, когда мы помогали ей забираться в вагонетку», — невольно подумал Джерри, глянув вниз, в пропасть, которая сейчас казалась совсем бездонной. Дальнего берега, находившегося на расстоянии семисот футов, вовсе не было видно сквозь ливень, клубящиеся в вихре клочья облаков, яростную пену и брызги. А утес, на котором они стояли, уходил отвесной стеной прямо в бурлящую мглу, и казалось, что от стальных тросов туда, вниз, не двести футов, а, по крайней мере, миля.

— Ну, готово? — спросил Джерри.

— Давай! — во всю глотку заорал Спиллен, чтобы перекричать вой ветра.

Он уселся в вагонетку рядом с женой и взял

ее за руку.

Джерри это не понравилось.

— Вам придется держаться обеими руками: ветер сильно швыряет! — крикнул он.

Муж с женой тотчас же розняли руки и крепко ухватились за края вагонетки, а Джерри осторожно отпустил тормозной рычаг. Барабан не спеша завертелся, бесконечный трос стал разматываться, и вагонетка медленно двинулась в воздушную пропасть, цепляясь ходовыми колесиками за неподвижный рельсовый трос, протянутый вверху.

Джерри уже не в первый раз пускал в ход вагонетку. Но до сих пор ему приходилось это делать только под наблюдением отца. Он осторожно регулировал скорость движения при помощи тормозного рычага. Тормозить было необходимо, потому что от бешеных порывов ветра вагонетка сильно раскачивалась, а перед тем как совсем скрыться за стеной дождя, она так накренилась, что чуть не вывернула в пропасть свой живой груз.

После этого Джерри мог судить о движении вагонетки по движению троса. Он очень внимательно следил, как трос разматывается с барабана.

— Триста футов… — шептал он, по мере того как проходили отметки на кабеле, — триста пятьдесят… четыреста… четыреста…

Трос остановился. Джерри дернул рычаг тормоза, но трос не двигался. Мальчик обеими руками схватился за трос и потянул на себя, стараясь сдвинуть его с места. Нет! Где-то явно застопорило. Но где именно, он не мог догадаться, и вагонетки не было видно. Он поднял глаза вверх и с трудом различил в воздухе пустую вагонетку, которая должна была двигаться к нему с такой же скоростью, с какой вагонетка с грузом удалялась. Она была от него примерно в двухстах пятидесяти футах. Это означало, что где-то в серой мгле на высоте двухсот футов над кипящей рекой и на расстоянии двухсот пятидесяти футов от другого берега висят в воздухе застрявшие в пути Спиллен с женой.

Три раза Джерри окликал их во всю силу своих легких, но голос его тонул в неистовом реве непогоды. В то время как он лихорадочно перебирал в уме, что бы такое сделать, быстро бегущие облака над рекой вдруг поредели и разорвались, и он на мгновение увидел вздувшуюся Сакраменто внизу и висящую в воздухе вагонетку с людьми. Затем облака снова сошлись, и над рекой стало

еще темнее, чем раньше.

Мальчик тщательно осмотрел барабан, но не обнаружил в нем никаких неполадок. По-видимому, что-то неисправно в барабане на том берегу. Страшно было представить себе, как эти двое висят над пропастью среди ревущей бури, раскачиваясь в утлой вагонетке, и не знают, почему она вдруг остановилась. И подумать только, что им придется так и висеть до тех пор, пока он не переправится на тот берег по тросам «Желтого Дракона» и не доберется до злополучного барабана, из-за которого все это стряслось!

Но тут Джерри вспомнил, что в чулане, где хранятся инструменты, есть блок и веревки, и со всех ног бросился за ними. Он быстро прикрепил блок к тросу и стал тянуть — тянул изо всех сил, так что руки прямо отрывались от плеч, а мускулы, казалось, вот-вот лопнут. Однако трос не сдвинулся с места. Теперь уже ничего другого не оставалось, как перебираться на тот берег.

Джерри уже успел промокнуть до костей, так что теперь сломя голову бежал к «Желтому Дракону», даже не замечая дождя. Ветер подгонял его, и бежать было легко, хоть и беспокоила мысль, что придется обойтись без помощи Холла и некому будет тормозить вагонетку. Он сам соорудил себе

тормоз из крепкой веревки, которую накинул на неподвижный трос.

Ветер с бешеной силой налетел на него, засвистел, заревел ему в уши, раскачивая и подбрасывая вагонетку, и Малыш Джерри еще яснее представил себе, каково сейчас тем двоим — Спиллену и его жене. Это придало ему мужества. Благополучно переправившись, он вскарабкался по откосу и, с трудом удерживаясь на ногах от порывов ветра, но все же пытаясь бежать, направился к барабану «Золотой Грезы».

Осмотрев его, Малыш с ужасом обнаружил, что барабан в полном порядке. И на этом и на другом конце все в исправности. Где же в таком случае застопорило? Не иначе как посредине!

Вагонетка с четой Спилленов находилась от него всего на расстоянии двухсот пятидесяти футов. Сквозь движущуюся дождевую завесу Джерри мог различить мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки и словно отданных на растерзание разъяренным стихиям. В промежутке между двумя шквалами он крикнул Спиллену, чтобы тот проверил, в порядке ли ходовые колесики.

Спиллен, по-видимому, услыхал его, потому что Джерри видел, как он, осторожно приподняв-

шись на колени, ощупал оба колесика вагонетки, затем повернулся лицом к берегу.

— Здесь все в порядке, Малыш!

Джерри едва расслышал эти слова, но смысл их дошел до него. Так что же все-таки случилось? Теперь уже можно было не сомневаться, что все дело в пустой вагонетке; ее не было видно отсюда, но он знал, что она висит там, в этой ужасной бездне, за двести футов от вагонетки Спиллена.

Он, не задумываясь, решил, что надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому, подвижному мальчугану, но он вырос в горах, отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского троса. Он безуспешно пытался найти какую-нибудь дощечку, чтобы смастерить себе некое подобие матросской люльки, но под рукой не оказалось ничего, кроме громадных тесин; распилить их было нечем, и он вынужден был обойтись без удобного седла.

Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого; он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая

вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А вверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что, как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого мешка.

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос. Он взял с собой гаечный ключ, небольшой железный прут и несколько футов веревки. Путь его лежал не горизонтально, а несколько вверх, но не подъем затруднял его, а страшный ветер. Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый… вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра — не выдержит и оборвется?

Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдержать.

Но Малыш мужественно продолжал свой путь. Трос был ветхий, раздерганный, острые концы

оборванных проволок, торчавшие во все стороны, в кровь раздирали руки. Джерри заметил это, только когда решил сделать первую остановку и попытался докричаться до Спилленов. Их вагонетка висела теперь прямо под ним, на расстоянии всего нескольких футов, так что он уже мог объяснить им, что случилось и зачем он пустился в это путешествие.

— Рад бы помочь тебе, — крикнул Спиллен, — да жена у меня совсем не в себе! Смотри, Малыш, будь осторожнее! Сам я напросился на это, но теперь, кроме тебя, нас некому вызволить.

— Да уж так я вас не оставлю! — крикнул ему в ответ Джерри. — Скажите миссис Спиллен, что не пройдет и минуты, как она будет на той стороне.

Под слепящим проливным дождем, болтаясь из стороны в сторону, как соскочивший маятник, чувствуя нестерпимую боль в изодранных ладонях, задыхаясь от усилий и от врывавшейся в легкие стремительной массы воздуха, Джерри наконец добрался до пустой вагонетки.

С первого же взгляда мальчик убедился, что не напрасно совершил это страшное путешествие. Вагонетка висела на двух колесиках; одно из них сильно поистерлось за время долгой службы и соскочило с троса, который был теперь намертво

зажат между самим колесиком и его обоймой.

Ясно было, что прежде всего надо освободить колесико из обоймы, а на время этой работы вагонетку необходимо крепко привязать веревкой к неподвижному тросу.

Через четверть часа Джерри наконец удалось привязать вагонетку, — это было все, чего он добился. Чека, державшая колесико на оси, совсем заржавела и стала намертво. Джерри изо всей силы колотил по ней одной рукой, а другой держался, как мог, но ветер непрерывно налетал и раскачивал его, и он очень часто промахивался и не попадал по чеке. Девять десятых всех его усилий уходило на то, чтобы удержаться на месте; опасаясь уронить ключ, он привязал его к руке носовым платком.

Прошло уже полчаса. Джерри сдвинул чеку с места, но вытащить ее ему не удалось. Десятки раз он готов был отчаяться, все казалось напрасным — и опасность, которой он себя подвергал, и все его старания. Но внезапно его словно осенило. С лихорадочной поспешностью он стал рыться в карманах. И нашел то, что ему было нужно, — длинный толстый гвоздь.

Если бы не этот гвоздь, который неведомо когда и как попал к нему в карман, Джерри пришлось

бы снова возвращаться на берег. Продев гвоздь в отверстие чеки, он наконец ухватил ее, и через минуту чека выскочила из оси.

Затем началась возня с железным прутом, которым он старался освободить колесико, застрявшее между тросом и обоймой. Когда это было сделано, Джерри поставил колесико на старое место и, с помощью веревки подтянув вагонетку, посадил наконец колесико на металлический трос.

Однако на все это потребовалось немало времени. Часа полтора прошло с тех пор, как Джерри сюда добрался. И вот теперь он наконец решился вылезти из своего «седла» и прыгнуть в вагонетку. Он отвязал веревку, которая ее держала, и колесики медленно заскользили по тросу. Вагонетка двинулась. И мальчик знал, что где-то там, внизу — хотя ему это и не было видно — вагонетка со Спилленами тоже двинулась, только в обратном направлении.

Теперь ему уже не нужен был тормоз, потому что вес его тела достаточно уравновешивал тяжесть другой вагонетки. И скоро из мглы облаков показался высокий утес и старый, знакомый, уверенно вращающийся барабан.

Джерри соскочил на землю и закрепил свою ва-

гонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг — совсем уже не по-геройски — бросился на землю у самого барабана, невзирая на бурю и ливень, и громко зарычал.

Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряжения, не отпускавшего его несколько часов, и еще — горячее, захватывающее чувство радости оттого, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъяренной, беснующейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте «Клеверного Листа».

Джерри, пошатываясь, побрел к дому. Белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за нее, но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, потому что он твердо знал, что поступил правильно; а так как он еще не умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело. Одно только маленькое сожаление копошилось у него в сердце: ах, если бы отец был здесь и видел его!

Любовь к жизни

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, — сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед, — такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах,

громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова, — он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл! — крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта,

образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; так как стоял конец июля или начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт од-

нообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни, — и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл, — и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет! На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал

спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку, по камням, торчавшим во мху, как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил, — но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся

по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг, — а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней, — на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но как ни трудно было ему идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше, — оставалось только лечь на землю и умереть. И пока тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту, — оставалось

только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Довольно долго он лежал на боку не шевелясь; потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно; он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он

осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но ненадолго. Солнце взошло на северо-востоке — вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень стоял от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и не скоро. Суставы у него словно

заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное, — и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать

тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и небо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: кр, кр, кр... Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли, — голод заглушал ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намокла, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки все вспархивали

вокруг него, и наконец это «кр, кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением — и в руке у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать, — так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась чернобурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее

обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведерко, он начал вычерпы-

вать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко к луже, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем, и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный им мох отсырел и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле, и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь.

Он то и дело просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить страны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После

нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведерком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не больше десяти миль, а на следующий, двигаясь, только когда позволяло сердце, — не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел

трех волков, которые крадучись перебегали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам, одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешок. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми: они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка

бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздразнили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он тоже, тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если… если Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведерко и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон, — ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в созна-

ние, — муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо — и жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, словно предостерегая: тук, тук, тук, — потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул

вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотить-

ся за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может быть, к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он недолго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотать с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он, не переставая, сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода — два дня или две недели, — он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день», — подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно, — подумал он, — это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопе-

ние — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это по крайней мере не кажется», — подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая, медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел ко-

гда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные за подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю — очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и

облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового, красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк.

И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на заморенную, унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце, и все утро путник, спо-

тыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него, — разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую

тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние

между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и, хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним, — оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на

поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере он хотел их вскинуть, — пальцы согнулись как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытьем и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его, и он видел долгие сны; но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго,

и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсинных деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже

стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели потихоньку его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.